

Genre

sci_politics

Author Info

Борис Юльевич Кагарлицкий

Восстание среднего класса

Автор данной книги Борис Юльевич Кагарлицкий – социолог и публицист, директор Института глобализации и социальных движений – известен российским и зарубежным читателям своими произведениями «Политология революции», «Периферийная империя», «Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали» и другими.

В книге «Восстание среднего класса» Борис Кагарлицкий отвечает на актуальный вопрос: почему сердцевиной бунта, происходящего в наши дни, являются не голодающие массы, а средний класс. На улицы городов, на митинги и демонстрации выходят теперь достаточно обеспеченные люди, которым, казалось бы, есть что терять.

По мнению автора, средний класс, который всегда считался гарантом стабильности общества и опорой демократии – больше таковым не является. Отчего это произошло и к чему ведет, Борис Кагарлицкий рассказывает в своей книге.

Борис Юльевич Кагарлицкий

Восстание среднего класса

Предисловие

Название книги «Восстание среднего класса» вызывает неизбежные ассоциации не только со знаменитым эссе Ортега-и-Гассета «Восстание масс», но и с блестящей книгой Кристофера Лэша «Восстание элит». Испанский философ первой половины XX века увидел угрозу привычному общественному укладу в новой политической организации, опиравшейся на массовое действие. В этом смысле демократия и тоталитаризм оказались родственными феноменами. И то и другое было несовместимо с властью традиционных элит.

«Восстание масс» на рубеже XIX и XX веков разрушило привычные правила игры, положило конец существовавшим ранее моделям культуры и потребления. Массовое производство, массовая культура и оружие массового уничтожения стали частью повседневности.

В эпоху массового общества менялся и капитализм. Он должен был стать демократическим, каковым он отнюдь не был в начале своей истории. Демократия, несмотря на древнегреческое имя, явление относительно новое. Общество XIX столетия было даже в «независимой Америке» и «свободной Англии» не демократическим, а всего лишь либеральным. Оно допускало рабство, ограничение избирательного права, запрещение профессиональных союзов. В нем было больше свободы, чем демократии. А свобода и прогресс, которыми наслаждались элиты, оборачивались ограничением прав большинства. Это большинство не было допущено и к потреблению. Именно поэтому продукция XIX века требовала совершенно иного качества, чем массовое производство XX столетия. Следовавшие одна за другой волны индустриальной революции вывели на авансцену истории новые массы, более образованные, организованные и политически радикальные. Капитализм должен был найти компромисс с поднимающимся движением либо погибнуть.

Ответом просвещенной буржуазии были западная демократия и «социальное государство». Однако не надо забывать, что демократия начала работать только после Второй мировой войны.

Итальянский фашизм и германский нацизм были попытками правящего класса решить ту же проблему управления массами, только иными, менее гуманными методами. Лишь тогда, когда буржуазия пошла на институциональный компромисс с рабочим движением, западная демократия стабилизировалась. В странах Азии, Африки и Латинской Америки капитализм не мог себе позволить роскоши «социального государства», а потому не могло быть и стабильной демократии. В странах «демократического капитализма» массы сделались «средним классом». Восстание завершилось не революцией, а компромиссом. Но насколько прочным был этот компромисс? В конце XX века, по мере того как разваливалась коммунистическая система на востоке Европы, правящие классы Запада все более ставили его под сомнение. Начался демонтаж «социального государства», неолиберальная контрреформа. Кристофер Лэш назвал это «восстанием элит». Новое общество провозглашает неравенство своим принципом, а несправедливость – двигателем прогресса.

Оно отказалось от стыда и отменило сострадание. Но самое главное, оно отреклось от того, что делало капитализм стабильным на протяжении двух столетий: оно перестало понимать границы рынка.

Будучи движущей силой капитализма, частная инициатива все же сочеталась с традиционными институтами, основанными на некоммерческих принципах. Буржуазия выработала свои формы солидарности, позволявшие ей коллективными усилиями справляться с разрушительными последствиями собственной деятельности. Университеты и государственная служба, железные дороги и вооруженные силы, аристократические колледжи и художественные академии жили самостоятельной жизнью, обслуживая правящий класс, но не подчиняясь рыночным правилам. XX век завершился безудержным триумфом нового поколения буржуазии, рушащего на своем пути все, что сопротивляется, и живущего под лозунгом «Все на продажу!».

Говорят, что боги, если хотят кого-то погубить, лишают его разума. Точнее было бы сказать, что класс, идущий к гибели, лишается исторической памяти. Оргия буржуазного самодовольства, которую мы наблюдали на рубеже столетий, скорее всего, оказывается предвестием большой катастрофы. Вопрос лишь в том, кто будет главной жертвой: капитализм или все человечество? Социальный компромисс между капиталом и трудом в XX веке породил средний класс. В конце столетия этот компромисс был нарушен, а значит, будущее среднего класса поставлено под вопрос. Средний класс сопротивляется, защищает свои привилегии. И именно это заставляет его бунтовать. Благополучный обыватель становится бунтарем, конформист открывает в себе революционера. И неожиданно обнаруживает, что бороться и отстаивать свои принципы, как бы тяжело это ни было, гораздо интереснее, чем просто быть потребителем и винтиком в системе.

Ответом на «восстание элит» становится восстание среднего класса.

Круг замкнулся. Для того чтобы умиротворить массы, их превратили в средний класс. Но элиты нарушили социальный компромисс. Война объявлена. И средний класс, нехотя и неожиданно для самого себя, вновь превращается в неуправляемую и бунтующую массу, которая так испугала буржуазных мыслителей в конце позапрошлого века.

Часть 1 Новый средний класс

Порождение эпохи глобализации

Новый средний класс появился на свет в Западной Европе и Америке во второй половине 1980-х

годов. Вообще-то понятие «среднего класса» ведет свое происхождение с позднефеодалных времен, когда под «средним классом» понимали буржуазию, занимавшую промежуточное положение между аристократией и «народом». Каждая новая эпоха в истории капитализма вырабатывала собственное представление о «среднем классе». Однако идея «среднего класса», несмотря на всю свою условность, размытость и почти неуловимость, оказалась очень важна для буржуазной системы. В ней выразилось буржуазное представление о благоустройстве, стабильности, добросовестности. «Золотая середина» общественной жизни. Социальная норма. Образ заслуженного благополучия. «Средний класс – основа стабильности общества!» – категорически объявляли учебники по социологии. «Средний класс – опора демократии!» – вторили им книги по политическим наукам. Большая часть общества стремилась быть «средним классом». Принадлежать к нему – значило быть нормальным, отвечать всем требованиям социальной жизни, ни в чем не уступать другим. Главным критерием «среднего класса» в середине XX века стало потребление. В этом смысле марксистские представления о классах, в основе которых лежат отношения собственности и заработной платы, не то чтобы оказались отброшены, но отодвинулись на второй план. Потребительское общество дополнило их своими собственными нормами, куда более условными, но от этого ничуть не менее реальными. «Рабочий класс» должен был стремиться стать «средним классом». Место «освобождения труда» заняла «свобода потребления», а «светлое будущее», обещанное революционерами XIX века, вполне можно было обменять на скромное счастье и благополучие сегодня. Тем более что и это благополучие тоже было не «даровано», а честно завоевано в ходе классовых битв.

Средний класс считался социальной нормой, но с течением времени нормы менялись. Именно потому, что понятие «среднего класса» размыто и двусмысленно, оно позволяет отобразить и осмыслить самые разные явления. По мере того как «потребительское общество» XX века уступало свои позиции «информационному обществу» рубежа столетий, социальная дифференциация трансформировалась.

Учителя и врачи, государственные служащие и квалифицированные рабочие, составлявшие костяк среднего класса в 1960—1970-е годы, чувствуют себя все более ущемленными. Они теряют свой статус, а порой и работу. Им приходится трудиться все больше – не для улучшения своей жизни, а лишь для поддержания существующего уровня. Однако пока старый средний класс агонизирует, на сцену выходит новый средний класс. Мир разделился на тех, кто имеет кредитные карточки, мобильные телефоны, доступ к Интернету, и тех, кто всего этого не имеет, или, во всяком случае, для кого все это не является само собой разумеющейся частью повседневности. На тех, кто получает достойную зарплату в экономике, пронизанной технологическими новациями, и на тех, кто остался позади, в «традиционном секторе».

Доступ к высоким технологиям становится одним из ключевых признаков среднего класса. Это не только производители программ и администраторы компьютерных сетей, но и миллионы пользователей. Это сообщество людей, радикально изменивших образ жизни и способы своей работы, войдя в «информационную эпоху». Увы, в эту эпоху вступило далеко не все человечество. Несмотря на свою массовость, новый средний класс гораздо более привилегирован, чем средний класс середины XX столетия, ибо плоды информационной революции, по крайней мере на первых порах, даже в благополучных обществах Запада распределяются весьма неравномерно. Речь идет в

масштабах планеты о меньшинстве, но это меньшинство само по себе насчитывает миллионы людей. И что самое главное, именно на представителей этого меньшинства оказывается нацелена пропаганда, реклама, политика, культура. Порой возникает ощущение, что даже в самой бедной стране кроме среднего класса никто не живет.

Итак, своим появлением новый средний класс обязан информационной революции. Его можно определить как массу людей, получивших доступ к информационным технологиям и возможность в полной мере пользоваться их плодами. Зато новый средний класс сразу возникает как глобальное явление. Его образ жизни и даже образ мысли формируется не только предшествующим социальным и культурным опытом, но и единой логикой информационных технологий.

Можно сказать, что новый средний класс – порождение эпохи глобализации. Он объединен, интегрирован на международном уровне не только общим образом жизни и родом занятий, но и общей наднациональной культурой. Формально это люди, выигравшие от перемен. Или хотя бы не проигравшие. Где бы они ни жили, они получают зарплату, исчисляемую в западной валюте. Их рабочие места позволяют им почувствовать себя частью глобальных процессов. Они образованны, мобильны и убеждены, что именно в этом причина их достижений.

И все же новый средний класс – не только детище информационной революции, но и продукт классовой борьбы.

Лекарство от революции

В конце 80-х годов XX века буржуазия одержала историческую победу. Она не только совершила торжественное изгнание «призрака коммунизма», но и положила конец целой эре уступок, вырванных у нее рабочим движением и социал-демократией. Провозглашенный на идеологическом уровне возврат к исходным принципам Адама Смита и других идеологов «классического капитализма» знаменовал преодоление страха правящего класса перед революцией. Страх, который подтекстовывал социальную и экономическую политику западных элит на протяжении, по меньшей мере, столетия.

Страх перед революцией зародился вместе с европейским рабочим движением. Социалистические партии XIX века были радикальны, они требовали не уступок, а коренного общественного переустройства. Страх усилился после Первой мировой войны, когда революция в России показала, что это переустройство возможно. Однако русская революция показала и то, как далека реальность нового общества от первоначального идеала. Революционный рывок в «царство свободы» оказался куда более сложным и длительным процессом, чем ожидали первые поколения социалистов. А пока в Советском Союзе вместо «царства свободы» получился сталинский ГУЛАГ.

Тем не менее Советский Союз сыграл огромную роль в демократизации и развитии социальных реформ на Западе. «Советская угроза», «холодная война» требовали консолидации западного общества. Жестокий и бессердечный рыночный капитализм не имел в этой борьбе никаких шансов. Тем более что «эффективность» рынка была поставлена под вопрос «Великой депрессией» 1929–1933 годов.

Для того чтобы выжить и победить в этой борьбе, капитализм должен был «гуманизироваться» и обуздать свою разрушительную силу. «Невидимую руку рынка» сменяет регулирование, безжалостную эксплуатацию – социальный компромисс. Издержки этой системы должны были оплатить страны, оказавшиеся на периферии мирового порядка, «третий мир». Но даже для них

компромисс был реальностью, выразившись в предоставлении политической независимости и финансовой помощи. Эта помощь отнюдь не компенсировала тех сумм, которые были вывезены и продолжали вывозиться из зависимых стран, но она означала признание западными элитами своей ответственности, готовности к «партнерству» и «сотрудничеству».

В начале 1970-х годов ситуация начала постепенно меняться. Советский Союз после неудачных попыток реформ вступил в полосу необратимого упадка. «Советская угроза» значила все меньше. С другой стороны, рабочая сила в странах Запада становилась все более дорогой. Высокая заработная плата воспринималась предпринимателями уже не как необходимая социальная уступка, а как недопустимо высокие издержки.

К концу 1960-х годов истощенность послевоенной модели ощущали все. Социал-демократия сделала все, что могла, и не способна была предложить большего. Из партии реформаторов она окончательно превращалась в партию управленцев. Соблазны потребительского общества вызывали иронию молодого поколения. Если их родителями появление в доме холодильника или телевизора воспринималось как великая победа, то молодежь, выросшая в 50—60-е годы, уже принимала это как должное и требовала иного. На Западе под вопрос были поставлены достижения «гуманного капитализма», в то время как Восточная Европа пыталась пробиться к демократическому социализму.

«Будьте реалистами, требуйте невозможного!» – провозгласили парижские студенты в 1968 году. «Новые левые» бросили вызов устоявшемуся порядку, политическим партиям, обывательским представлениям о здравом смысле и благопристойности. Европу от Праги до Парижа, от Варшавы до Лиссабона потрясли массовые выступления. Но левые оказались не в состоянии предложить реалистическую альтернативу. В августе 1968 года Советский Союз своей военной интервенцией не только положил конец демократическим реформам в Чехословакии, но и продемонстрировал, что коммунистическая система находится в глубочайшем кризисе. Она уже не может ни обеспечить бурный рост, ни эффективно реформировать себя. Наконец, полагаясь, прежде всего, на насилие, она не способна и применять репрессии в прежнем тоталитарном масштабе. С этого момента становится ясно, что «конец коммунизма» – лишь вопрос времени. «Холодная война» безнадежно проиграна Восточным блоком, а левые идеи терпят поражение. Надежды радикалов оборачиваются иллюзиями. События 1968 года, вместо того чтобы оказаться прологом великой революции, становятся отправной точкой многолетнего и общемирового контрнаступления правых.

В начале 1970-х годов в швейцарском курортном Давосе стал ежегодно собираться Всемирный экономический форум. Именно здесь западная политическая и деловая элита начала консультации ради выработки нового проекта, получившего позднее название «неолиберализма» и «глобализации». Этот проект обретал свои очертания постепенно. Точно так же, постепенно, он становился все более радикальным и агрессивным. Первоначально речь шла преимущественно о том, чтобы остановить рост «социальных издержек», выходящих за рамки допустимого. В то время как идеологи «новых левых» все еще видели зарю новой революции, а социал-демократы (включая даже таких мыслителей, как Юрген Хабермас) пророчествовали о неуклонном расширении «социальной сферы», действительные хозяева жизни работали над подготовкой и реализацией комплексного контрреформистского проекта, социальной реставрации. Необходимо было отбросить назад наступление «социальной сферы», одновременно сведя к минимуму риски революции.

Идея возвращения к «ценностям свободного рынка» пропагандировалась консервативными экономистами на протяжении долгого времени, но ни в 1950-е, ни в 1960-е годы она не была востребована. Сторонники подобных идей воспринимались обществом как «экономические романтики», идеологи, безнадежно отставшие от жизни, а главное, не понимающие требований научно-технической революции. Однако с середины 70-х ситуация стремительно меняется. Идеи консервативных идеологов внезапно оказываются востребованы. «Рыночный романтизм» получает новое название – «неолиберализм» и официальное признание государственных деятелей, международных финансовых институтов и лидеров бизнеса.

Первые попытки социальной реставрации предпринимаются в середине 70-х годов в Латинской Америке и сопровождаются жесточайшим террором против левых организаций, профсоюзов, свободомыслящей интеллигенции. Несмотря на то, что задним числом европейские правые склонны были рассказывать о достижениях латиноамериканских диктаторов, все они в той или иной мере потерпели поражение. Генералы, внедрявшие экономическую либерализацию с помощью массового террора, в конечном итоге оказались на скамье подсудимых.

Однако неолиберальная волна только поднималась. В 1979 году к власти приходит Маргарет Тэтчер в Британии, затем Рональд Рейган в США и Гельмут Коль в Германии. За этими победами на выборах стояла, с одной стороны, усталость и растерянность социал-демократии, а с другой – решимость правящих элит, стремившихся радикально изменить правила игры. И все же неолиберальная реставрация никогда не завершилась бы успехом, если бы не начинающаяся технологическая революция.

Начальным толчком технологических новаций была именно потребность собственников сократить издержки, связанные с дороговизной рабочей силы. Так происходило не в первый раз. Уже в начале XIX века высокая стоимость рабочей силы в Англии подтолкнула индустриальную революцию. Квалифицированные мануфактурные рабочие в «мастерской мира» добились исключительно высокой заработной платы, большого количества выходных и уважения к себе. С массовым внедрением паровых машин и нового, более простого оборудования, старые специальности обесценивались, возникла массовая безработица, соотношение сил на рынке труда резко изменилось в пользу предпринимателя.

Внедрение машин требовало научных знаний, но их массовое использование было доступно людям с самой низкой квалификацией и минимальным образованием. Предприниматели стали использовать на заводах труд женщин и детей с единственной целью – платить им как можно меньше. Гильдии мануфактурных рабочих развалились. Условия труда стали чудовищными. И лишь полвека спустя возникли новые профсоюзы и обновленное рабочее движение, выдвинувшее революционные требования.

Технологическая революция 70—80-х годов XX века развивалась по схожему сценарию. Она высвободила массу рабочих рук, обесценив массу рабочих специальностей. Правительства Тэтчер в Британии и Рейгана в США не колеблясь применяли силу против бастующих рабочих, но не это обеспечило им успех. История рабочего движения знает примеры куда более жестокого насилия власть имущих, оказавшегося совершенно бесполезным. На сей раз победа была достигнута, в конечном счете, не с помощью полицейской дубинки и локаутов, а благодаря реструктурированию производства. Именно это реструктурирование подорвало позиции профсоюзов, сделало их

бессильными против репрессий, деморализовало активистов.

В свою очередь неолиберальные правые заговорили языком «прогресса», представив себя партиями модернизации, новаций, перемен. Это был новый консерватизм, решительно отличавшийся от прежнего. Он не опирался на традицию, а разрушал ее. Он говорил языком «реформ» и порой даже «революций». Он в культурном плане как будто вылутился из движения 1968 года, одновременно вывернув его наизнанку. Наступление на индустриальный пролетариат велось по трем направлениям.

Во-первых, введение нового оборудования, позволяющего резко сократить рабочие места (и тем самым, увеличив безработицу, создать новую ситуацию на рынке труда). Во-вторых, соотношение сил труда и капитала изменилось за счет новой производственной организации. Вместо огромных заводов, объединяющих тысячи рабочих, появились многочисленные мелкие предприятия. При этом совокупное количество рабочих мест порой не сокращалось. А вот качество... На маленьких предприятиях не было мощных профсоюзов, а в большинстве случаев – вообще никаких профсоюзов. Эксплуатация работника, зависимость его от хозяина оказались на порядок больше, тогда как зарплата – ниже. Технологический уровень производства колебался от немногих предприятий, воплощавших футуристическую мечту, до совершенно отсталых мастерских, работающих самыми примитивными методами. Но даже там, где предприятия работали по самым примитивным технологиям, рассредоточение производства стало возможно именно благодаря информационной революции.

В XIX веке, сосредотачивая рабочих на огромных заводах, капиталисты прекрасно отдавали себе отчет в том, что одновременно создают исключительно благоприятные условия для революционной агитации и организации. Но иного выбора у них не было: в ту эпоху эффективно контролировать крупномасштабное производство иным способом было невозможно. Крайним проявлением этой логики стала фраза, услышанная мною уже в 1990-х годах от одного «новорусского» предпринимателя: «Как только мои сотрудники оказываются на расстоянии более 200 метров от меня, они начинают воровать!»

Сосредоточив сложные производственные процессы в одном месте, предприниматель получал возможность скоординировать все происходящее, а для менеджеров всех уровней появлялась возможность постоянного прямого вмешательства, когда что-то шло не так. Но информационная революция дала возможность во многих случаях рассредоточить производство при том же уровне управляемости. И этой возможностью немедленно воспользовались: то, что раньше делали заводские цеха, стали делать маленькие мастерские «на стороне». Уменьшились склады, зато была обеспечена доставка «с колес», когда детали от «внешнего» поставщика сразу поступают на сборочный конвейер.

Разумеется, далеко не всякое производство можно разделить на мелкие части. Только на крупных предприятиях можно варить металл и собирать автомобили. Но такую работу можно рассредоточить географически. И это тоже результат информационной революции. Вслед за текстильной промышленностью в Юго-Восточную Азию, Бразилию и Мексику начинает перемещаться сталелитейная, автомобилестроительная. Формально это объясняется дешевизной труда. Но дешевизна эта относительна. Русская пословица гласит: «За морем телушка – полушка, да дорог перевоз». Действительно, параллельно с удешевлением производства растут транспортные и

управленческие расходы, появляется необходимость платить дополнительные пошлины. Однако все это окупается огромным социальным выигрышем для правящего класса.

Промышленность перемещается из Западной Европы и США на «периферию» мировой системы. Это не только географическое, но и социальное перемещение. Индустриальный рабочий класс вместе с промышленностью удаляется подальше от «центров» власти и собственности. С другой стороны, в странах «третьего мира», несмотря на то что промышленность бурно развивается, рабочие остаются в меньшинстве.

Уходит в прошлое ситуация, когда индустриальный пролетариат был сосредоточен в непосредственной близости к центрам глобальной экономической власти и составлял большинство населения в тех странах, где эти центры размещались. Казалось бы, угроза революции устранена. Тем самым отпадает и необходимость постоянно откупаться от переставшего быть столь опасным пролетариата.

Параллельно корпорации, ставшие транснациональными, начинают беспрецедентное давление на все национальные правительства с требованием снизить импортные и экспортные пошлины, отменить все ограничения на движение товаров, обеспечить режим абсолютной торговой свободы. Иными словами, капитал требует от государства, чтобы то решило организационные и финансовые проблемы, которые тот сам себе создал в процессе наступления на рабочих.

Правительства уступают. Снижение торговых барьеров внешне выглядит мерой поощрения торговли. Но с каждой новой уступкой государство теряет не только средства для решения социальных проблем, но и контроль над процессами, происходящими в собственной экономике. Политика поощрения торговли оборачивается субсидированием транснационального капитала за счет общества.

А был ли призрак?

Кульминацией неолиберального наступления был распад Советского Союза. Технологическая революция оказалась вызовом, на который советская система ответить была не в состоянии.

Оборонные производства и «закрытые» исследовательские институты могли производить чудеса техники, порой опережая западные разработки на целые годы даже после того, как разложившееся государство прекратило всякое финансирование. Но массово внедрить информационные технологии в повседневную жизнь жесткая и косная система оказывалась не в состоянии.

Отказавшись от реформ в конце 1960-х годов, советская бюрократия обрекла себя на зависимость от Запада. Технологические новации и потребительские товары для населения оплачивались за счет экспорта нефти и газа. Советский Союз постепенно интегрировался в мировую экономику в качестве сырьевого придатка европейского капитализма. Верхом мечтаний советской элиты стало присоединение к элите западной. Смена системы на Востоке Европы была инициирована именно бюрократической элитой.

В первой половине XX века Россия, а затем Советский Союз стали символом социалистических надежд. В конце столетия по Восточной Европе и бывшим советским республикам прокатилась неолиберальная волна. Разрушение социального государства произошло здесь в беспрецедентных масштабах, поставив в некоторых случаях под вопрос элементарные условия цивилизованного существования для большинства народа.

Крушение СССР сопровождалось глобальным кризисом левых. Международное коммунистическое

движение, видевшее в Советском Союзе свой идеал, перестало существовать. Показательно, что выжили в основном те партии, которые уже в конце 1970-х годов отмежевались от «советского брата», за что были прозваны «еврокоммунистами».

Меньше всего пострадали морально и психологически те из левых, кто изначально отказывал Советскому Союзу в праве называться «социалистическим».

Однако этим вопрос не исчерпывается. Ибо, если социалистический характер советского строя был более чем сомнителен, его революционное и социалистическое происхождение остается очевидным. Именно это генетическое родство и позволяло советской системе на протяжении многих лет более или менее успешно притворяться социализмом.

Моральный ущерб от поражения СССР понесли все левые, от социал-демократов до троцкистов. Даже социалисты и марксисты в Восточной Европе, которые в 1970-е и 1980-е годы боролись за изменение системы, подвергались репрессиям, сейчас чувствовали себя не победителями, а побежденными. Их язык, лозунги, культура были дискредитированы. А с другой стороны, отказ от своей традиции и языка был для левых самоубийственным. Перестать говорить о социализме, отказаться от прошлого значило не «обновить» движение, а просто покинуть идеологическое поле битвы, оставив его неолиберальным пропагандистам.

Многочисленные и высокооплачиваемые авторы объявили историю оконченной, а призрака революции – окончательно изгнанным. Его надлежало не только изгнать, но и забыть. Он должен был исчезнуть без следа. Окончательную победу над марксистским «призраком» требовалось закрепить, полностью удалив из общественного употребления любые следы социалистической традиции и языка. Ведь политическое мышление не может существовать без традиции и языка. Лишенные их, побежденные классы становятся как бы глухонемыми, политически несамостоятельными. Маркс писал о том, что, обретая самосознание, пролетариат из «класса в себе» превращается в «класс для себя». Отняв самосознание, можно вновь превратить класс в бессмысленную массу, «рабочую силу», способную только продавать себя по дешевке на рынке труда.

К концу 80-х годов поражение индустриального пролетариата в Западной Европе и США было свершившимся политическим фактом. В Восточной Европе следует говорить уже не о поражении, а о катастрофе. Господствовавшая на протяжении десятилетий коммунистическая система лишила трудящихся способности к самоорганизации. Троцкий говорил в 1930-е годы, что бюрократия политически экспроприировала пролетариат. Уйдя со сцены в конце 1980-х, государственные коммунистические партии оставили трудящихся без организации, без идеологии и даже без собственного языка.

Гонки на спуск

Левые потерпели идеологическое поражение, профсоюзы оказались в кризисе. Все то, что рабочее движение считало своими историческими завоеваниями на протяжении XX века, было поставлено под сомнение. Это не означало, однако, будто промышленный рабочий должен был исчезнуть на Востоке и Западе как социальный тип. Это отнюдь не было задачей неолиберальной контрреформы. Тем более это не было и не могло быть целью технологической революции. Но соотношение сил в промышленности между работодателем и работником радикально меняется.

Начинается то, что профсоюзные активисты назвали «гонка на спуск», бег по нисходящей. Каждое

предприятие, каждая отрасль, каждая страна поставлена перед фактом жесточайшей конкуренции. Рынок труда становится глобальным, но только для капитала. Перемещаясь из страны в страну, деньги ищут самого дешевого работника. Трудящимся остается только одно: отказаться от своих социальных завоеваний, смириться со снижением жизненного уровня, согласиться с ужесточением эксплуатации в надежде тем самым сохранить свое рабочее место. В гонке участвуют работники, а побеждает всегда капитал. Каждое предприятие, снижая свои социальные издержки, заставляет всех остальных делать то же самое. В гонку включаются государства. Если в 50—60-е годы XX века правительства конкурировали между собой, добиваясь повышения жизненного уровня граждан, то теперь они столь же яростно соревнуются в деле его снижения. Это проходит безнаказанно, ибо сами граждане, играющие по новым правилам, признают, что иной альтернативы нет.

Впрочем, в «гонках на спуск» участвуют далеко не все. Если бы все общество стремительно и равномерно деградировало, неолиберальная модель не продержалась бы не только десяти лет, но и десяти месяцев. Параллельно с социальной деградацией традиционного промышленного пролетариата поднимается новый средний класс. И на первых порах этот средний класс не только не страдает от происходящего, но, напротив, многое выигрывает.

Чем более рассредоточено производство, тем больше людей обеспечивают его управляемость. Это менеджеры, персонал, работающий в офисах, системные администраторы.

Это рабочие места для «среднего класса». Огромную армию «белых воротничков» на первых порах гораздо легче контролировать. Здесь царит бюрократическая дисциплина и командный дух. Здесь, как и в любой административной системе, главным стимулом становится продвижение по службе и соответствие требованиям организации. Коллективный конфликт между работниками и работодателями по вопросам зарплаты и условий труда сменяется индивидуальным соревнованием между сотрудниками компании, стремящимися подняться наверх.

Неолиберальная контрреформа стала возможна благодаря поддержке среднего класса. Но ведь сам средний класс сделался массовым именно в результате социальных реформ середины XX века. Он отнюдь не является продуктом рыночной экономики, которая в течение всей эпохи «классического» капитализма неизменно воспроизводила поляризацию между богатыми и бедными, буржуа и пролетариями. Перераспределительные программы, всевозможные формы социального страхования, государственные инвестиции в образование и здравоохранение, рост правительственных расходов на развитие создали условия для формирования среднего класса. Массовые средние слои в странах Восточной Европы и Латинской Америки были продуктом государственной перераспределительной политики в еще большей степени, чем на Западе.

Социальная арифметика изменилась. Перераспределительные меры в 1940-е годы создавали средний класс, заставляя тесниться богатых. В 70-х годах речь уже шла о том, чтобы сам средний класс вносил свой вклад в то, чтобы улучшить положение социальных низов. И хотя, как выяснилось задним числом, именно средний класс и являлся главным получателем благ капитализма, он проявил удивительное и на первый взгляд самоубийственное нежелание эту систему поддерживать.

Консолидовавшись к началу 60-х годов, средние слои уже почувствовали себя самостоятельными. Они осознавали свое положение в обществе как само собой разумеющееся. В 40—50-е годы миллионы людей на Западе и Востоке Европы поддерживали государственные социальные программы, видя в них средство для того, чтобы улучшить свое положение. А в 70-е годы новое

поколение среднего класса уже воспринимало свое положение как должное. Напротив, оно стремится освободиться от опеки государства, раздраженно реагируя на бюрократическую неэффективность, гнетущее однообразие официальных процедур и надоевшую за много лет риторику социальной справедливости.

В 1960-е годы реформированный капитализм и переживший «оттепель» коммунизм соревновались в строительстве потребительского общества. Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая на XXII съезде, говорила, в сущности, о том же, что и реклама «американского образа жизни». Коммунизм мыслился как изобилие, торжество потребления. Материальный достаток, становящийся равнозначным счастью. Капитализм и коммунизм тех лет пронизаны одними и теми же идеями. Но это были ценности и идеалы уходящего поколения, пережившего лишения и ужасы двух мировых войн и тоталитаризма. Молодое поколение мечтало о чем-то большем, чем материальное благополучие и личная безопасность. Бунт 1968 года во Франции и движение «Пражской весны» в Чехословакии были порождены стремлением к свободе, которое, проявляя себя по-разному, овладевало людьми и на Западе, и на Востоке. Однако 60-е годы кончились неудачей. «Пражская весна» была раздавлена советскими танками, студенческие выступления захлебнулись. Именно в это время формирующийся неолиберализм предлагает среднему классу новое понимание свободы – как потребления. Ценности потребительского общества, против которых восставали студенты, совместились с идеалами протестующих. Свобода свелась к разнообразию, к многоцветию товаров и услуг, к возможности выбора. Потребление из массового должно было превратиться в индивидуальное. Обществу, которое не смогло реализовать свою свободу в социальном преобразовании, предлагалось осуществить ее в совершенно иной сфере. Коллективное действие сменялось индивидуальным наслаждением.

Право выбора, обещанное неолиберальной идеологией, не просто осуществляется на свободном рынке. Оно оказывается путем к наслаждению. Суть потребления не в удовлетворении материальных потребностей, а в самореализации, самоутверждении. Товарные знаки уже не просто связываются в сознании покупателя с репутацией фирмы. Они становятся символами бытия, образами, с которыми связываются социальные и культурные идеалы.

Можно сказать, что потребительская культура преобразовала себя в ответ на вызовы 60-х. Точно так же, как контрреформация XVI века опиралась на культурные достижения Ренессанса, неолиберальная реакция по-своему продолжала и развивала образы молодежного бунта. Именно потому, что неолиберализм впитал в себя импульсы «бунтовщических 60-х», он смог преобразить капитализм. Неолиберализм не только перекупил, совратил, развратил множество интеллектуальных и артистических кумиров «великого десятилетия», он стал на эмоциональном уровне своеобразным синтезом протеста и конформизма. Анархистские лозунги борьбы против государства обратились в призыв покончить с бюрократизированным социальным страхованием. Ненависть к любой власти сменилась готовностью подорвать власть правительства ради свободы корпораций. Призыв к социальному освобождению сменился готовностью «освободить» талантливых и динамичных предпринимателей из-под гнета тусклых и тупых чиновников. Рынок был провозглашен единственно значимым пространством свободы.

Именно это стало третьим, по-своему решающим направлением неолиберальной контрреформы. Новая идеология потребления стала господствующей. Говоря словами Грамши, завоевала

гегемонию.

Культурная гегемония неолиберализма обеспечила контрреформе поддержку среднего класса. Коллективный эгоизм более благополучной части общества был освящен моралью, идеологией и эстетикой. Технологическая революция добавила социальному эгоизму еще и «историческое оправдание». Лидер итальянской партии Фаусто Бертинотти, описывая ситуацию 90-х годов, говорил про «одинокость рабочего». Растущий «постиндустриальный» средний класс в массе своей не испытывал большого сочувствия к страданиям социальных низов. Люди, считавшие себя успешно вписавшимися в новую экономическую модель, воспринимали происходящее как естественный процесс. Те, кто остался за бортом, принадлежали к «уходящей экономике». Те, кто процветал, считали себя «новой экономикой». Все происходит само собой. Никто не виноват. Промышленный рабочий обречен был страдать просто потому, что оказался «фигурой прошлого».

«Ничего личного», – как говорят киллеры в голливудских фильмах.

Глобальный рынок труда менял и облик низов. Массовая иммиграция из бедных стран превращает низкооплачиваемые профессии в удел этнических меньшинств и «инородцев». Миллионы людей, находящиеся на низшей ступеньке социальной иерархии, оказываются не только лишены гражданских прав, но зачастую и просто являются нелегалами. Уже с XIX века этот подход к трудовым отношениям был успешно опробован в США. Результатом стала хорошо известная слабость профсоюзного движения. Конкуренция между общинами подорвала классовую солидарность. В последнее десятилетие XX века та же модель была применена в Европе. Социальные противоречия превращаются в вопрос межэтнических отношений и оказываются неразрешимы как таковые. Как, впрочем, и проблемы этнические, ибо разрешить их можно лишь путем социального преобразования, которое даже не обсуждается.

«Две нации!» – говорил радикальный журналист Дизраэли, описывая социальные контрасты викторианской Англии. Но тогдашние «две нации» говорили на одном языке, принадлежали к одной расе и религии. В эпоху глобализации слова Дизраэли приобретают новый конкретный смысл. Формируется этническое разделение труда. Социальные низы этнически и культурно оказываются как бы «вне общества». Соответственно их несчастья, даже если на них кто-то обращает внимание, воспринимаются уже не как проявление социального конфликта, а как результат расовой или культурной дискриминации. Вместо того чтобы бороться за права низкооплачиваемых работников, сердобольные либералы добиваются законов о правах религиозных меньшинств, гуманного обращения с беженцами и права для мусульманских девочек носить чадру на школьных занятиях. Солидарность заменяется благотворительностью и религиозной терпимостью.

Общество распадается на массу маргиналов, организованный, но относительно малочисленный рабочий класс, все более разрастающийся средний класс.

Эта социальная структура кажется абсолютно безопасной. Рабочий класс перестает быть «опасным классом» просто потому, что в жизненных центрах системы его становится мало. Рабочие уже не могут захватить власть в Берлине или Париже, ибо не составляют там большинства. Маргиналы могут взбунтоваться, но бунт – не революция. Его может разогнать полиция.

А поскольку маргиналы зачастую еще и инородцы, мигранты и нелегалы, их легко можно самих сделать козлами отпущения, обвинить во всех бедах общества, натравить на них крайне правых. Неофашистские партии вновь становятся востребованы, получают финансирование и доступ к

средствам массовой информации. Однако в отличие от 20-х и 30-х годов XX века правящая элита вовсе не собирается допускать крайне правых к власти. Такая опасность возникает лишь тогда, когда традиционные господствующие классы смертельно напуганы и не видят иного способа остановить революцию. На сей раз страх перед революцией преодолен. Однако ультранационалистические организации приобретают новую роль – теперь уже в качестве элемента социального контроля. Терроризируя инородцев, они поддерживают сложившийся этно-социальный порядок, не давая культурному конфликту перерасти в классовый. Пусть левые и политкорректная интеллигенция мобилизуются для противостояния националистам. До тех пор, пока подобное противостояние носит сугубо «культурный» характер, оно не опасно для системы.

Часть 2 Постиндустриальная революция

Культурная стандартизация

Культурная стандартизация не сводима к «американизации». Но в основе ее лежат именно американские нормы и правила. Дело не только в том, что Голливуд вытесняет, например, национальную кинопродукцию, но и в том, что любые успешные альтернативы Голливуду создаются по тем же меркам. Для того чтобы национальные культурные продукты окупались и приносили настоящую прибыль, они должны успешно продаваться на американском рынке и на глобальном рынке, подчиненном голливудским стандартам. Чем больше стандартизируется культура, тем больше она превращается в разновидность бизнеса, тем больше ее создатели и потребители оказываются заложниками корпораций.

Культурная стандартизация происходит не впервые в истории. В конце концов уже эллинистический мир являл собой пример того, как нормы, первоначально сложившиеся в мире древних греков, проникли в Египет, Персию, а затем, вместе с римскими легионами, распространились по всей Европе.

И все же масштабы нынешней культурной интеграции беспримерны. Средний класс в странах периферии всегда был ориентирован на нормы и правила стран центра. Еще в XIX веке, после восстания сипаев в Британской Индии, колониальные власти поставили своей целью создание там среднего класса, который, будучи индийским по крови и цвету кожи, будет британским во всем остальном. Колонизаторы преуспели в этом, хотя победа оказалась пирровой: через некоторое время колониальный средний класс, усвоивший европейские понятия о правах и свободах, стал требовать политической независимости.

В конце XX века победоносный транснациональный капитал повторяет ту же операцию в масштабах планеты. Зависимые страны получают новый средний класс, по культуре и образу жизни принадлежащий Западу. Лидеры западных держав и транснациональных компаний убеждены, что этот средний класс станет их опорой «на местах», проводником их интересов, а заодно и резервуаром кадров для корпораций. Ведь перед ним открывается беспрецедентная перспектива социальной мобильности. Усвоив определенные нормы поведения, выходцы из стран «периферии» могут сделать карьеру в мировых столицах, попасть в руководящие органы международных финансовых институтов, а если особенно повезет – войти в правление фирм с громкими именами. Разумеется, подобный успех достается единицам из миллионов, но он становится символом новых возможностей, открытых для многих.

Американский социолог Билл Робинсон, описывая эволюцию правящих элит в Латинской Америке

90-х годов, обнаружил возникновение нового класса – транснациональной буржуазии. Ее власть и собственность уже неотделимы от власти и собственности глобальных корпораций, ее процветание напрямую зависит от состояния мирового рынка. Транснациональная буржуазия воспринимает себя не как элиту своей собственной страны, а как часть глобального правящего класса, кровно заинтересованного в том, чтобы «своя» страна, не дай бог, не выбилась из общего ряда, не отклонилась от «единственно верного пути». Это ударный отряд крестоносцев «мировой цивилизации», непримиримых к любым проявлениям самобытности и свободомыслия. В отличие от прежних элит, тесно связанных с национальной культурой, традициями и образом жизни, новая транснациональная элита воспринимает себя скорее как часть мирового правящего класса. Местная принадлежность для нее – случайное, второстепенное обстоятельство. Ее капитал и бизнес неотделимы от транснациональных корпораций, штаб-квартиры которых находятся за тридевять земель. Эти люди возглавляют местные отделения транснациональных компаний или имеют собственные фирмы, являющиеся формально независимыми, но по существу превратившиеся в филиалы тех же международных гигантов. Они вовлечены в глобальные финансовые спекуляции. Предел их мечтаний – должность в головной конторе корпорации где-то в Нью-Йорке или в Лондоне, а заодно и небольшая доля в ее огромной собственности.

Стиль жизни транснациональных элит мало меняется от того, базируются ли их представители в Лондоне, Лусаке, Москве или Буэнос-Айресе. В известном смысле «периферийные» столицы даже лучше. Даже в самой нищей стране Африки есть несколько столичных кварталов, с бутиками и ресторанами, ничем не уступающими парижским. Другое дело, что в нескольких сотнях метров начинается совершенно иной мир, в котором кусок мыла может быть предметом роскоши (и в этом отношении ситуация стала несравненно хуже, чем два десятилетия назад). Но соседство двух миров далеко не всем кажется проблемой. Ведь до тех пор, пока жители нищих кварталов ничего не требуют политически, они остаются лишь дешевой и доступной рабочей силой. Значит, жители «благополучного» мира получают все услуги гораздо дешевле, нежели их «братья по классу», живущие на Западе.

Однако для того, чтобы транснациональная буржуазия могла эффективно управлять, ей нужны массы, разделяющие те же ценности, но куда более укорененные в повседневной жизни собственной страны. Короче, ей нужен такой же глобальный средний класс.

В конце 1980-х и первой половине 1990-х годов «социальный проект» транснационального капитала можно было считать блистательно удавшимся. Новый средний класс не просто формировался на «периферии», не просто усваивал западную культуру и ценности, он воспитывался в духе высокомерного презрения к «отсталым» местным массам, старшему поколению, «не умеющему адаптироваться к новой жизни», традиционной культуре и национальной истории, оказавшейся «на обочине мирового процесса». Отвергнув ценности народнической интеллигенции, он отождествлял себя с элитой, противопоставляя себя «маргиналам». В Восточной Европе и Латинской Америке этот средний класс воспринимал себя как опору рыночных реформ. Он искренне верил в собственную избранность.

Его идеология и самооценка основывались на банальном принципе: средний класс – фактор стабильности. Политики как заклинание повторяли: увеличивайте средний класс, и общество будет стабильнее. Более того, они сами в это верили.

Средний класс наслаждался новыми возможностями, вступая в «мир развлечений», и, вопреки пророчествам скептиков, не испытывал ни малейшей скорби по поводу утраченного. Он воспринимал свои достижения как безусловно заслуженные: мы самые умные, самые компетентные, самые адаптивные. Короче, будучи лучшими, эти люди обречены были на успех, тогда как неудачи огромного большинства соотечественников виделись закономерным наказанием за «отсталость» и «некомпетентность». Крайним выражением этой идеологии стало заполнившее русскую речь словечко «совок», призванное характеризовать все черты советской жизни и поведения, оказавшиеся препятствием для достижения успеха в прекрасном новом мире. Презрение к «совку» стало основой морали и идеологии среднего класса.

Будущее представлялось как постепенное изживание «совка», за чем последует неизбежное процветание и превращение большинства населения страны во все тот же средний класс по западному образцу. Утопичность подобной перспективы на первых порах ускользала от сознания. Поскольку именно сверхэксплуатация «периферии» создает возможность поддерживать стабильность в «центре», средний класс в «незападном» мире обречен оставаться меньшинством, по крайней мере, до тех пор, пока господствуют принципы неолиберального капитализма. Возникало неразрешимое противоречие. Объективная реальность не оставляла никаких шансов на развитие среднего класса, а идеология требовала его неуклонного расширения. Но, хуже того, поддержание подобных идеологических иллюзий являлось одним из главных условий жизнеспособности системы. Для того чтобы себя поддерживать, система должна себя постоянно подрывать. Стратегия расширения среднего класса оказалась для неолиберального капитализма бомбой замедленного действия.

Пластилиновый человек

Этика неолиберализма – не мешать «сильным». Если в этой идеологической системе допускается хоть какая-то мораль, она сводится к простой формуле. Получив заслуженный приз, «сильные» потом должны будут помочь «слабым». Или это сделает государство, которое отныне ничего не гарантирует гражданину как таковому. Принцип «адресной» помощи предполагает, что на место социальных прав приходит правительственная благотворительность, унижительная уже потому, что получение ее означает причисление к «слабым».

Но как отличить «сильных»? Согласно логике неолиберализма, это те, кто добивается успеха. В свою очередь успех – всегда личная заслуга. Короче, кто победил, тот и прав. Торжествующие «победители» не испытывают особой потребности помогать «слабым». В самом деле, почему люди, добившиеся всего собственными знаниями, умом и трудом, должны помогать «неудачникам»? Самодовольство «победителей» и презрение к «побежденным» становится этической нормой. Парадоксальным образом понятие «силы», которое раньше предполагало твердость, несгибаемость, целеустремленность, в новой ситуации означает прежде всего гибкость, «адаптивность», способность быстро приспосабливаться к постоянно меняющейся ситуации. Неслучайно именно слова «гибкость» и «адаптация» стали ключевыми.

На самом деле любая победа и поражение зависят от правил игры. Чемпион по боксу не имеет никаких шансов на соревнованиях биатлонистов. Правила же постоянно меняются. Культ «адаптивности» оборачивается разрушением профессиональной этики, отказом от самостоятельно выработанной жизненной стратегии, конформизмом. Люди становятся не тем, чем хотели стать, а

безликим, пластичным материалом, подлежащим постоянной переработке. «Пластилиновый человек» на разные лады лепит себя сам, но делает это не по собственной инициативе, а подчиняясь недвусмысленно сформулированным требованиям системы.

Идея перемен, новаций, гибкости становится культом, самоцелью. Новация превращается в фетиш. Уже никто не спрашивает, зачем и для чего нужно «новое», лучше ли оно старого. Новизна становится достоинством сама по себе.

Культ гибкости и инновации – своеобразная религия, точнее – суеверие постиндустриального общества. Это классический пример описанного молодым Марксом «ложного сознания», когда причины и следствия меняются местами, побочные эффекты воспринимаются как основа процесса. Если постоянное обновление технологических систем из условия успеха в рыночном соревновании превращается в самоцель, то человек должен подчинить себя той же логике. При этом, однако, обещанная свобода оборачивается тотальной зависимостью. Инновационная экономика оборачивается новой системой порабощения. Человек остается придатком машин, причем он не только обречен эти машины постоянно менять, но и сам обязан меняться вместе с ними. Требование приспосабливаться к переменам становится основой нового конформизма.

В отличие от прежних, эта форма конформизма неотделима от постоянного стресса, а главное, рано или поздно обречена на неудачу. Ибо в консервативном обществе человек, знающий правила игры, может более или менее надежно обеспечить свое будущее, приспособившись к ним раз и навсегда. Напротив, конформизм «пластилинового человека» обречен. Даже готовность постоянно ломать себя, прогибаться и подстраиваться под очередные «новации» не гарантирует, что в один не столь уж прекрасный момент система раздавит того, кто не смог попасть в ее ритм.

Готовность постоянно адаптироваться к меняющимся требованиям системы имеет свои пределы. И дело не только в ограниченных психологических возможностях человека. Рано или поздно экономический спад, финансовый кризис, биржевой крах обесценивают любые усилия.

Все эти события, кстати, происходят как бы вне мира постоянно развивающихся технологий, но внезапно обнаруживают те истинные, основные законы, по которым обречен жить и этот мир. В тот момент, когда система сама по себе терпит поражение, обнаруживается: чем больше человек соответствовал ее требованиям, чем тщательнее он приспосабливался к ней, чем более «сильным» он казался себе и окружающим, тем более жестоко он может быть «наказан».

«Сильный» в одночасье превращается в «слабого». Он унижен и посрамлен в глазах общества. Но именно в этот момент «пластилиновый человек» вновь может стать самостоятельной личностью, возмущившись и выступив против правил.

Неолиберализм обещал среднему классу построить для него мир самореализации и наслаждения.

Возникло же общество стресса. Средний класс полон амбиций и нереализованных желаний.

Общество постоянно давит на него «сверху» и «снизу». Его принципом является успех, но этот успех обществом отнюдь не гарантирован. Он стремится к благополучию и в то же время, обретая образование, протестует против буржуазной пошлости. Он может считать себя частью менеджмента, а может почувствовать свое глубинное родство с пролетариатом.

Короче, он соткан из противоречий.

«Меритократия»

Каждое общество порождает собственные мифы, иллюзии и суеверия. То, что молодой Маркс

называл «ложным сознанием». Хранителями и интерпретаторами этих мифов в наше время становятся идеологи «информационного общества, авторы многочисленных книг, прославляющих «постиндустриальную эру». Как и всякие профессиональные идеологи, они заинтересованы в том, чтобы легенды распространялись как можно шире, а мифы не подвергались сомнениям: от этого зависит общественное положение самих идеологов.

Мифы должны быть красивы, а суеверия – входить в привычку, обретая тем самым все признаки самоочевидной истины. Бесконечное повторение одних и тех же тезисов превращает их в аксиомы массового сознания.

Между тем идеология «информационного общества» полна вопиющих и порой просто нелепых логических противоречий. С одной стороны, нам рассказывают о том, что наступает эра сетевых структур, о том, что отныне разрушаются традиционные иерархии, а вертикали бюрократического контроля заменяются горизонтальными связями – совершенно в духе анархистских утопий XIX века. С другой стороны, те же авторы рассказывают нам про наступающую эру «меритократии».

Меритократия – странное греко-французское словообразование, означающее «власть лучших». Но сетевая утопия в принципе ставит под вопрос любую власть, любой авторитет, заменяя его самоорганизацией. А с другой стороны, идеологи упорно уклоняются от ответа на вопрос о том, кто и по какому принципу отберет «лучших». Это получается как-то само собой, преимущества лидеров настолько самоочевидны, что никакого отбора вроде бы и не существует. Просто эти люди «лучшие», и все тут.

На самом деле любой привилегированный класс, любая господствующая группа объясняла свое положение тем, что они «лучше». Любая власть со времен Древнего Египта считает себя меритократией, и другой власти не может быть по определению. Если у господствующего слоя появились сомнения в собственной избранности, значит ему не долго осталось наслаждаться своим положением.

Другое дело, что обоснование превосходства с течением времени меняется. Жрецы Древнего Египта, подобно информационным гуру начала XXI века, обосновывали свое превосходство «знанием», старательно, впрочем, оберегая свои тайны от непосвященных. Феодалский лорд объяснял крестьянину, что он «лучше» него происхождением, а капиталист убеждал рабочего, что превосходит его своей «предприимчивостью». Советские чиновники рассказывали народу, что обладают «единственно научной, передовой идеологией». Эту же идеологию должны были изучать простые смертные, но предполагалось, что начальство ее все равно знает лучше. Всем остальным оставалось лишь стараться изо всех сил и, играя по правилам, надеяться, что система вознаградит за усердие.

Тем, кто оказался наверху, такое положение дел кажется естественным и закономерным. То, что одни считают привилегией, другим кажется заслуженной наградой и естественным правом. Ничего случайного. Каждый представитель элиты твердо знает, что заслужил свое положение, даже если не может объяснить – как. Лишь кальвинизм в XVI веке со средневековой наивностью допускал случайность успеха, но называл ее божественным провидением. Непредсказуемость и иррациональность рынка была еще слишком очевидна, и еще не были истрочены миллионы тонн бумаги на то, чтобы приучить общественное сознание понимать хаос как высшее проявление порядка.

Случайность оказывалась капризом Бога и тем самым – высшим законом. Избранные сами не знали, почему выбрали именно их, но от этого еще больше гордились своим положением. Заслуга победителей состояла в том, что они понравились Богу. Разве может быть достижение выше? Позднее, однако, буржуазный мир выработал гораздо более разумные способы доказать моральное превосходство победителей. Рациональные теоретики индустриального общества в середине XX века писали о «меритократии» практически теми же словами, что идеологи «информационного общества» спустя полвека. «Революция менеджеров», преобразовавшая капитализм после Второй мировой войны, виделась не как естественное усложнение управленческой системы, порожденное концентрацией корпоративного капитала, а как торжество «знания» и «компетентности». Теперь, говорили нам, не право рождения, не унаследованный капитал, а именно личные достижения станут основой карьеры. Увы, авторы XX века были далеко не первыми: тот же миф о личных достижениях вдохновлял уже идеологов третьего сословия в борьбе против феодальных привилегий. То, что миф о личных заслугах как основе иерархии приходится постоянно придумывать заново, говорит о том, сколь условны «заслуги» и «достижения», которыми обосновываются привилегии. Но господство одних людей над другими сохраняется, воспроизводится. Меняющаяся элита требует новых мифов.

Проблема идеологов «постиндустриального общества», однако, состоит в том, что миф о меритократии, обосновывающий превосходство элит, они должны каким-то образом соединить с мифом о «сетевом обществе», отвечающем надеждам и демократическим устремлениям нового среднего класса. В этом как раз и проявляется новизна информационной эпохи, ее переломный характер.

Противоречия идеологов отражают противоречия реальной жизни. Сетевая организация сама по себе отнюдь не является измышлением философов и пропагандистов. Новый технологический порядок был бы невозможен без развития информационных сетей и соответствующей координации. Но буржуазный рынок требует накопления капитала. Параллельно с развитием сетей происходит концентрация власти и собственности корпораций в невиданных масштабах. Вертикальная иерархия не только не отменяется, она торжествует. Социальное неравенство оборачивается неравенством прав и возможностей. Новые сети подчинены старым иерархическим порядкам, придавлены ими. Каким образом система отбирает победителей? Это может быть рыночное соревнование, в котором успех и поражение отданы на волю «невидимой руке». В этом случае мы должны признать «лучшим» любого человека, случайно взлетевшего наверх, просто потому, что успех (в соответствии с кальвинистскими представлениями четырехсотлетней давности) сам себя оправдывает. Разница лишь в том, что в религиозные объяснения уже никто не верит. Здесь нет места для морали. Здесь вообще нет никаких критериев. Произвол Бога сменяется иррационализмом рынка.

С другой стороны, «лучших» может отобрать корпорация. Не случайно именно это средневековое слово характеризует устройство современного капитализма. Средневековые принципы корпоративной солидарности, лояльности и уважения к авторитету, консервативная этика и соблюдение жестких ритуалов являются необходимым условием успеха.

Без соблюдения этих правил невозможно признание и продвижение. Корпорация действительно отбирает «лучших» – но по своим собственным критериям и в соответствии со своими собственными интересами. Суть корпорации – в закрытости.

На практике получается, что Билл Гейтс, автор весьма посредственной операционной системы, оказывается одним из богатейших людей мира, тогда как его более талантливые современники остаются на обочине. Компания Intel навязывает человечеству свой стандарт микропроцессора, оттесняя другие, куда более перспективные разработки. И это по-своему закономерно. Подобные успехи предопределены избранными бизнес-стратегиями, правильным выбором партнеров. Успешные жизненные стратегии не имеют ничего общего с «сетевой этикой», личными знаниями и интеллектуальными достижениями, культивируемыми в «информационном обществе». Это победа капитализма над «сетевой организацией».

Лучшие в сети никогда не станут «лучшими» (то есть главными) в корпорации. Здесь требуются совершенно иные качества. Другое дело, что сеть тоже по-своему вознаграждает своих лидеров, обеспечивая им известность и уважение. К тому же корпорация нуждается в специалистах, она обязана их вознаграждать – в противном случае она не сможет их успешно эксплуатировать.

Корпорация так же, как и сеть, поощряет знание, новации, поиск, но при одном условии: все интеллектуальные усилия должны быть подчинены основной цели – получению прибыли для акционеров. Всякий другой поиск оказывается не просто бессмысленным, но даже вредным. В лучшем случае – потерей ценного времени. В худшем – проявлением бунта, саботажем.

Неудивительно, что «лидеры сети» рано или поздно оказываются в конфронтации с «лидерами корпорации». Ставшая уже анекдотической ненависть программистов к Биллу Гейтсу – отнюдь не только результат зависти менее удачливых коллег к более удачливому (хотя и это, наверняка, имеет место). Но, прежде всего, это – проявление на уровне обывденного сознания конфликта двух принципов. Профессионалы прекрасно сознают, что их коллеги, поднявшиеся к вершинам бизнеса, – далеко не лучшие в профессии.

Билл Гейтс и древнеегипетский жрец едины в одном: и тот и другой оправдывали свои привилегии «знанием».

Однако у древнеегипетского жреца было неоспоримое преимущество перед Биллом Гейтсом: первый мог оградить свое знание от непосвященных, а второй – нет. Корпорация зависит от специалистов, делающих профессиональную работу, но лишенных права ее контролировать. Сами же специалисты все более убеждаются, что те, кто ими управляет, не обладают никакими особыми качествами – они ничем не превосходят тех, кем командуют. Миф о «меритократии» рассыпается на глазах. «Сетевой человек» вступает в конфликт с «корпоративным лидером».

Кризис контроля

Традиционный капитализм был основан на продаже рабочей силы. Нанимаясь на работу, человек знал, что каждый будний день двенадцать, а потом, в более гуманную эпоху, восемь часов его времени принадлежат не ему самому, а работодателю. Зато последний не имел никаких прав на оставшееся время работника.

С творческими людьми всегда было сложнее. Менделеев свою знаменитую таблицу вообще во сне изобрел, а Пушкин, продавая рукописи, предупреждал, что не продается вдохновение. Но подобные личности все же составляли ничтожное меньшинство общества, и им можно было либо предоставить исключительные условия, либо репрессировать их (а чаще – то и другое сразу). Творческая интеллигенция, в свою очередь, постоянно выражала свою неприязнь к капитализму и бюрократическому государству, но низвергнуть ни то, ни другое не могла (тем более что на

протяжении XX века борьба против одного, как правило, заканчивалась попытками союза с другим). Наконец, восставая против буржуазной дисциплины, интеллектуалы стремились найти опору в «железных когортах пролетариата», которые в свою очередь строились в соответствии с «железной дисциплиной фабрики», созданной все тем же капитализмом. Отсюда многочисленные личные и творческие трагедии XX века, героические попытки освобождения, завершившиеся новым рабством, и так далее.

Новые технологии все изменили. Творческий работник оказался нужен экономике в массовом порядке. Капитал стремится контролировать его: ведь тот, кто платит деньги, должен заказывать и музыку. Но привычная система контроля рассыпается. С одной стороны, человек все больше оказывается предоставлен сам себе даже на рабочем месте. А с другой стороны, каждая попытка работодателя восстановить свою власть оборачивается посягательством уже не только на «законные» шесть или восемь часов рабочего времени, но и на свободное время, на саму личность работника. Маркс считал, что «отчуждение личности» порождено отчуждением работника от средств производства. Не имея возможности контролировать свой труд, человек становится ущербным, неполноценным и в других отношениях. Новая эпоха, казалось бы, обещает решение этой проблемы. Как отмечает Михаил Делягин, с появлением новых информационных технологий «работник носит ключевые средства производства в своей собственной голове и памяти личного домашнего компьютера, подключенного к Всемирной паутине». По мнению Делягина, это означает, что эксплуатация в традиционном марксистском понимании становится невозможна, ее место занимают «отношения кооперации владельцев принципиально различных и дополняющих друг друга производительных сил». Соответственно «роль принуждения стремительно съезживается, ибо человека можно принудить исключительно к рутинной, механической работе».

Увы, описываемая Делягиным картина соответствует идеальному представлению о том, как должно быть, но отнюдь не тому, что есть. Отношения кооперации в наибольшей степени отвечают логике информационных технологий, но в том-то и проблема, что эта логика оказывается в неразрешимом противоречии с основополагающими принципами капитализма. А поскольку именно капиталистические отношения являются основой современного общества, именно они и торжествуют, деформируя развитие информационных технологий и превращая развлечение в проклятие.

Невозможно принуждение? Отчего же? Капиталистическое принуждение деньгами тем и отличалось от привычного насилия, что заставляло работника совершенно добровольно и даже без кнута надсмотрщика делать именно то, что требовалось хозяину. Принуждение голодом, стимулирование долларом отнюдь не способствуют развитию творческого труда, но и не делают его принципиально невозможным. Они просто делают его ущербным, неполноценным, а порой и мучительным. Об этом, как ни парадоксально, очень выразительно пишет тот же Делягин, когда переходит к конкретным вопросам (в данном случае – к организации научных исследований). С того момента, как корпорации и созданные ими фонды взяли в свои руки управление наукой, исследования выродились «в процесс сначала поиска, а затем, выражаясь по-советски, «освоения» выделенных средств. Авторы их вынуждены стремиться не столько к обнаружению и осмыслению новых явлений, сколько к приведению своих отчетов в соответствие с представлениями, а порой и предрассудками конкретных представителей каждого конкретного грантодателя. При этом качественные скачки в развитии

человеческой мысли становятся институционально невозможными, так как гранты по вполне объективным коммерческим причинам представляются только на гарантированное и потому, как правило, заведомо незначительное продвижение вперед – не на открытие, а лишь на уточнение». В то самое время, когда перед людьми, казалось бы, открылись безграничные возможности поиска истины, общество уступает силам рынка даже ту ограниченную творческую свободу, которую имело со времен зарождения академической науки. Автономия университетов, свобода исследования вместе с другими завоеваниями просвещения уходят в прошлое. Свобода творчества, безжалостно констатирует все тот же автор, оказывается немыслима в эпоху, когда «значительная часть исследователей работает по заказам тех или иных коммерческих или политических сил. Такое положение вынуждает их вольно или невольно подгонять не только свои выводы, рекомендации и методы анализа, но и первоначальные наблюдения под заранее четко определенные требования заказчика или под собственные идеологические предрассудки. С точки зрения пагубного влияния на интеллектуальный результат, последнее настолько же хуже, насколько самоцензура творца страшнее и эффективнее обычного цензора».

Связанные с подобными противоречиями нравственные мучения по-своему не менее ужасны, чем те, что испытывает раб под кнутом надсмотрщика. Традиционная эксплуатация труда работника сменяется тотальной эксплуатацией его личности. Иными словами, возникает ситуация, когда некуда бежать. Ибо творческий процесс не ограничен ни временем, ни местом. Подчиняя его чужой воле, человек жертвует уже не несколькими часами «необходимого рабочего времени», а своим «Я». Вместо того чтобы преодолеть отчуждение, мы делаем его всеобъемлющим, всепроникающим. Корпорации оказываются в двусмысленном положении. Им нужна творческая личность, нужен работник, способный не только исполнять приказы, но и давать выход своей фантазии, формулирующей нестандартные идеи. Но для них жизненно необходимо, чтобы эти идеи шли исключительно на пользу корпорации, чтобы поведение работника оставалось в рамках, заранее заданных корпоративной элитой.

Американский социолог Ник Дайер-Уитфорд описывает киберпространство как «сферу противоречий, где развитие капитала в одно и то же время стимулируется и тормозится всевозможными альтернативными подходами». В этом смысле социальная информационная революция по-своему повторяет судьбу индустриальной: способствуя развитию капитализма, она одновременно создает нового наемного работника, способного вступить в конфликт с системой. Можно сказать, что капитализм в очередной раз не выполняет своих обещаний. Мир неограниченных творческих возможностей оборачивается системой рутинных процедур. «Чтобы создавать и использовать компьютерные системы, коммерческая структура нуждается в целом сообществе работников, начиная с ученых и разработчиков программного обеспечения, кончая техниками, компьютерно грамотными рабочими в офисе и на сборочной линии, равно как и в великом множестве людей, делающих однообразную, рутинную работу, но все же обладающих необходимыми навыками работы с компьютером, без которых невозможна станет вся система современных услуг. По мере того как возникает этот виртуальный пролетариат, растет и противоречие между открывающимися перед ним потенциальными возможностями и его банальным существованием в мире киберконтроля и электронного рынка». Именно это имела в виду Алла Глинчикова, когда писала про «кризис контроля», с которым сталкиваются «постиндустриальные»

корпорации. Каждый новый виток технологической революции создает у элиты ощущение, что теперь-то проблема эффективного управления «постиндустриальными» работниками будет, наконец, разрешена, но она лишь обостряется. Глобальные коммуникации из средства обслуживания бизнеса оказываются по совместительству каналами распространения инакомыслия. Информационные связи и сетевые контакты из «идеальной среды для рыночных трансакций» превращаются в среду, где формируется новая антирыночная солидарность и зарождаются новые равноправные отношения. Но бессознательное уклонение от контроля, «легкомыслие» и «безответственность» работников, нарушающих корпоративные правила, является для корпоративной элиты не менее серьезной проблемой, чем прямое сопротивление. Подобные стихийные проявления человеческой непредсказуемости гораздо труднее предвидеть и не всегда понятно, как их наказывать. Корпорации не способны разрешить фундаментальное противоречие. Творчество не может быть просто объектом управления. Оно нуждается в определенной свободе. И эта свобода чревата тем, что человек неожиданно выйдет за рамки дозволенного. Напишет не ту программу, которую заказывали, использует дорогое оборудование для незапланированных экспериментов. Предпочтет компьютерные игры обработке электронной почты. Переведет деньги не на тот счет. Работодатель не может полностью полагаться на самоконтроль работника. Но не может и эффективно использовать принуждение. Система разрывается между полюсами анархии и тоталитарного контроля.

Воплощением первой стал бунт нового поколения, не начавшийся (началось все куда раньше), но обозначившийся в ноябре 1999 года в Сиэтле. Воплощением второго стали попытки создания нового полицейского государства в США после террористических актов 11 сентября 2001 года.

В том, что из экономики противоречия перекинулись в сферу политики, нет ничего нового. Зато форма, которую принял конфликт, оказалась необычной и порой неожиданной даже для участников событий.

Культурные нормы и способы поведения, сложившиеся в сети, стали неожиданно выплескиваться на улицу. Движение протеста с самого начала стало интернациональным. Это имело мало общего с ритуальным интернационализмом большей части XX века, когда колонны демонстрантов торжественно проходили по улицам, выражая поддержку незнакомым им людям, борющимся где-нибудь в далекой Африке. Интернационализм приобретал эмоциональную и политическую наполненность лишь тогда, когда речь заходила о своих – например, во время войны во Вьетнаме, где гибли или становились убийцами американские парни. Иное дело – события последних лет. Люди в Нигерии, отстаивающие экологическое равновесие, нарушенное проектами Всемирного Банка, вполне могут оказаться сетевыми знакомыми активистов, действующих в Нью-Йорке или Буэнос-Айресе. Сетевые связи подготовили организационные контакты, плодом которых стали международные демонстрации.

Во время демонстраций против Международного валютного фонда, происходивших в Праге осенью 2000 года, я мог вблизи видеть, как соединялись в единую массу колонны, прибывавшие со всех концов Европы. Участники акции оказались способны говорить на одном языке не только потому, что все более или менее знали английский. Существеннее то, что они принадлежали к одному поколению, одной общей культуре, сформированной Интернетом, глобальными телевизионными сетями и транснациональными корпорациями. Чем более интегрированной становится, благодаря информационным технологиям, мировая экономика, тем активнее складывается внутри нее и общая

культура протеста.

«Постиндустриальная» революция

Мировой экономический кризис, разразившийся на рубеже веков, придал новое измерение постиндустриальному обществу. Сотни тысячи представителей технологической элиты неожиданно оказались без работы. Молодежь, воспитанная для того, чтобы принять эстафету информационного общества, обнаружила, что ни карьерных перспектив, ни рабочих мест для нее нет. Не менее существенно унижение, испытываемое лидерами и идеологами «новой экономики», а также их верными последователями. Несколько лет назад они верили, что принадлежат к числу избранных, которым обладание знанием гарантирует успех и процветание, независимо от того, что происходит со всеми остальными. Теперь обнаружилось, что логика капитализма – одна для всех, а привилегированные работники информационного сектора так же мало способны контролировать свою судьбу, как и индустриальные пролетарии. Надежды первой половины 1990-х обернулись иллюзиями. Экономический рост – балансированием между спадом и стагнацией. Новая экономика перестала казаться миром безграничных возможностей, став просто бизнесом – таким же, как и все остальные. Сказочные карьеры ушли в прошлое. Для тех, кто остался внизу, это означало не просто разочарование, но и оскорбление: ведь они были ничем не хуже. На языке социологии это называется «снижением вертикальной мобильности». На языке повседневной жизни – обманутыми надеждами.

Гонка технологий, характерная для 90-х годов, если и не кончилась, то перешла в новую фазу. Произошло насыщение рынка, а вместе с ним обнаружилась и внутренняя несостоятельность многих компаний. В начале 2000-х годов настал момент истины. Процессы концентрации капитала происходят в «новой экономике» так же, как и в промышленности. Волна банкротств не только опровергла идею «новой экономической логики», но и выявила, что хозяева игры – прежние. Впрочем, нельзя говорить, будто никакой «новой экономической логики» вообще не возникло. Просто эта логика оказалась в противоречии с логикой денег, с требованиями накопления капитала. Именно осознание этого вызывает шок и приступ ярости у «детей калифорнийской революции». За возмущением следует протест – от разбитых витрин и поваленных телефонных столбов до хакерских атак на корпоративные серверы.

И все же основной импульс насилия исходит не от «анархистов» (как стали называть всех протестующих, независимо от их политических взглядов). Насилие одиночек ничто по сравнению с организованной машиной насилия, принадлежащей государству. Государственное насилие тоже не стоит на месте. Оно постоянно развивается, пытаясь поставить себе на службу новые технологии. Для эпохи новых технологий нынешний кризис играет примерно такую же роль, как и депрессия 1929–1930 годов для массовой промышленности, построенной по технологиям Генри Форда. Трагично ли происходящее? Возможно, да. Но в то же время и закономерно, в философском смысле – необходимо. Избавляясь от иллюзий и переживая кризис, мир новых технологий достигает зрелости, находя свое подлинное, а не воображаемое место в мире.

Самое главное, причем, не закрытие тех или иных компаний и даже не потеря миллионов долларов «фиктивного капитала». Куда важнее процессы, начинающиеся происходить в сознании техноэлиты. Под сомнение ставится представление о собственном абсолютном превосходстве над «отсталой» массой, равно как и вера в непогрешимость свободного рынка. Появляется понимание того,

насколько плохо защищены собственные права, и появляется потребность их защищать. Если раньше собственники капитала и обладатели технологических знаний легко находили между собой общий язык, то теперь между ними начинается конфликт. Первыми проявлениями этого противостояния были бунты «антиглобалистов» в Сиэтле, Праге и Генуе, где наиболее «продвинутая» молодежь «постиндустриального мира» выразила свое категорическое несогласие с тем, как этот мир устроен. Самое главное, впрочем, впереди. Технологическая элита, обладающая знаниями, начинает сознавать, что, хотя эти знания умножают капитал, сами их создатели распоряжаться инвестициями не могут: финансовые рынки живут по своим законам. Гордыню сменяют обида и гнев. У нас на глазах созрывают условия для нового социального конфликта, который может оказаться не менее драматичным, чем классовая борьба XX века.

Часть 3 Кризис нелиберализма

Конец высоких прибылей

Экспансия 1992–2000 годов была не только одной из самых длительных в истории капитализма. Этот период отличался высокими прибылями и бурным ростом биржевых котировок на фоне далеко не столь бурного экономического роста. Еще Маркс отметил присущую капитализму тенденцию нормы прибыли к понижению. История в целом подтверждает этот вывод, однако в определенные периоды прибыль начинает бурно расти, а экономисты – дружно утверждать, что выводы Маркса неверны или устарели. Причина этого парадокса в том, что структура капиталистической экономики не остается неизменной. Возникают новые отрасли или новые рынки. На первых порах норма прибыли здесь оказывается крайне высокой и лишь затем начинает снижаться в соответствии с общими закономерностями, присущими системе. Эти новые отрасли и рынки резко повышают среднюю норму прибыли в масштабах всей капиталистической системы.

В 1990-е годы одновременно происходил бурный рост новых отраслей – создавалась инфраструктура «информационного общества», – и в то же время капитал осваивал «новые рынки». В данном случае речь идет не только об установлении нелиберального экономического режима в странах бывшего «коммунистического блока» и третьего мира, но и о «маркетизации» целого ряда сфер жизни на Западе, ранее исключенных из сферы рыночных отношений. На коммерческую основу переходили здравоохранение, образование, общественный транспорт и т. д. Кстати, именно необходимостью повысить прибыль за счет освоения новых отраслей объясняется и неудержимое желание нелиберальных руководителей внедрить свободное предпринимательство во все новые и новые сферы жизни. Ради чего, например, в 2000–2001 годах было разработано Генеральное соглашение о торговле и услугах.

Рыночные циклы подвержены той же закономерности, что и прибыль. С возникновением новых отраслей и рынков в них формируется собственный цикл, который может не совпадать с циклом «старых» рынков и отраслей. Так, в Восточной Европе переход к капитализму сопровождался затяжной депрессией, которая перешла в экономический подъем лишь к концу 90-х, когда потенциал роста на Западе уже выдыхался. Особенно явственно это было видно на примере России, где рост производства начался лишь в 1999–2000 годах, уже после того, как азиатский промышленный кризис показал, что время мировой экспансии приближается к концу.

Неравномерность развития между отраслями и странами является для капитализма как фактором роста, так и фактором дестабилизации. В открытой мировой экономике 1990-х годов Соединенные

Штаты стали своего рода магнитом, притягивавшим капитал со всего мира. Это объясняется не столько исключительным динамизмом американской экономики, про которую писала популярная журналистика, сколько исключительным положением США в миросистеме. Мало того что Америка являлась крупнейшим рынком, американский доллар являлся и мировой валютой. Чем более открытой была экономика других стран, тем большим был приток иностранного капитала в США. Чем большим был американский рынок капитала, тем привлекательнее он был для инвесторов. Оттягивая капитал из других частей мира, США дестабилизировали там ситуацию, но в то же время рост американской экономики был своего рода амортизатором, предотвращавшим мировую депрессию. «Этот поразительный поток иностранного капитала – два или три миллиарда долларов в год на протяжении последних нескольких лет – помог обеспечить экономический рост, – отмечает Даг Хенвуд. – Он обеспечивал повышение рыночных курсов, он давал возможность американскому потребителю жить не по средствам». Депрессия в странах Восточной Европы и некоторых государствах третьего мира в условиях «открытой экономики» лишь способствовала перетоку средств, тем самым поддерживая рост в США – «совершенно точно, бегство капитала из России принесло в Америку кучу денег, то же самое можно сказать про Азию, Латинскую Америку, Восточную Европу и вообще о странах бывшего Советского Союза: все они внесли свою лепту в рост американской фондовой биржи. Чем больше было неприятностей по всему миру, тем лучше шли дела у американского правящего класса».

Таким же образом, как «формирующиеся рынки» Восточной Европы и «третьего мира» накачивали дополнительный капитал для поддержания роста в США и отчасти в Европейском Союзе, так и бурное развитие новых информационных отраслей на Западе поддерживало и продлеvalo общий рост. Из этого теоретики «информационного общества» немедленно сделали нелепый вывод, будто технологическая революция гарантирует нам непрерывный подъем. На самом деле «информационная экономика» была подвержена тем же рыночным циклам, что и традиционная, но эти циклы действовали здесь с запозданием. Зато после того, как возможности экспансии в этих секторах были исчерпаны, «новая экономика» сама стала решающим фактором спада.

Рост прибылей имел и другую, вполне традиционную, причину: усиление эксплуатации трудящихся. Если стоимость рабочей силы непрерывно понижать, пролетарий рано или поздно превращается в паупера, которого буржуазия сама же вынуждена подкармливать, вместо того чтобы кормиться за его счет. В условиях кризиса естественная реакция предпринимателей состоит в том, чтобы в очередной раз снизить издержки за счет рабочих. Однако именно это делалось на протяжении всего периода подъема, и теперь возможности компаний практически исчерпаны. Более того, вопреки привычным сценариям, кризис, по крайней мере на первых порах, может сопровождаться усилением давления рабочих на предпринимателей.

В итоге восьмилетняя экономическая экспансия создала условия для нового подъема рабочего движения, которое постепенно начало отвоевывать утерянные позиции. Это значит, что ресурсы повышения прибыльности для корпораций были исчерпаны. К 2001 году прибыли компаний были еще достаточно высоки, но тенденция к понижению стала явственной.

Рост биржевых курсов на протяжении десятилетия существенно опережал рост прибылей, но до тех пор, пока прибыли тоже заметно росли, это не имело большого значения. С того момента, как прибыли начали снижаться, поддержание «биржевого пузыря» стало делом невозможным.

Нефтяной кризис

В периоды экономического роста цены на сырье поднимаются. Это не могло не сказаться на нефтяном рынке. Спазм азиатского промышленного кризиса обрушил и цены на нефть, но восстановление производства в Азии привело к их резкому повышению.

Когда цены на нефть начали расти осенью 1999, все ожидали, что спустя некоторое время последует резкое снижение спроса, после чего наступит стабилизация рынка, а затем цены вновь снизятся.

Цены на горючее всегда падают весной и летом в Северном полушарии, даже несмотря на туристический сезон. То же самое должно было случиться и на сей раз. Да и сами производители нефти предполагали очень короткий скачок цен, которым надо было немедленно воспользоваться. На рынке было все больше топлива, которое, естественно, должно было бы стоить все дешевле. Но ничего подобного! Создавалось ощущение, что рынок сошел с ума! На рост производства нефти он реагировал лишь новым ростом цен.

Причина происходящего лежала за пределами нефтяного рынка. В течение примерно пятнадцати лет средства систематически изымались из «реальной экономики» по всему миру и вкладывались в куда более прибыльные финансовые спекуляции. В этом смысле Россия 1990-х с ее голодающей промышленностью и жиреющими банками была не исключением, а лишь крайним случаем, иллюстрирующим общую тенденцию, которая точно так же торжествовала в США и Западной Европе. Главная догма монетаристской экономической теории – у инфляции может быть один-единственный источник – социальные расходы государства, ради которых правительство печатает необеспеченные бумажные деньги. На самом деле есть и другие источники, не менее опасные. Стремительный рост биржевых котировок в США создал многомиллиардный фиктивный капитал в то самое время, когда все правительства и центральные банки проводили жесткую финансовую политику, сдерживали выпуск бумажных денег и всячески поддерживали их ценность. Возникла парадоксальная ситуация: деньги были стабильны, а финансовый капитал раздувался, как мыльный пузырь. Это была новая форма инфляции, порожденная монетаризмом и неолиберализмом. Рост финансового капитала уже никак не соотносился с развитием производства. На счетах корпораций и частных лиц накапливались огромные суммы необеспеченных безналичных денег, их собственность, выраженная в ценных бумагах, оценивалась совершенно необоснованными величинами. Под залог этих несуществующих средств предоставлялись кредиты. В западных экономиках возник своего рода «инфляционный навес». Рано или поздно эти «лишние» деньги должны были обрушиться на рынок. «Инфляционный потенциал», накопленный в западной экономике, не мог реализоваться из-за жесткой политики центральных банков, но чем больше шло времени, тем большим он становился. Нужен был лишь канал, который позволил бы избыточным денежным ресурсам вырваться на рынок. После того как Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК), оценив ситуацию, резко сократила квоты, цены скачкообразно пошли вверх.

Под давлением нефтяных цен финансовый навес «рухнул», инфляция вышла из-под контроля. «Лишние» деньги, первоначально сконцентрированные в банковском спекулятивном секторе, расплзлись по мировой экономике. Вскоре после нефтяных цен дестабилизировалась вся система валютных курсов. По иронии судьбы, именно нефтяной шок 1973 года дезорганизовал систему государственного регулирования, кейнсианизм и основывавшийся на этом «социализм распределения» на Западе. Напротив, второй нефтяной шок дезорганизовал систему рыночно-

корпоративного распределения и нанес удар по неолиберальному капитализму. Ответом на первый нефтяной шок был общий сдвиг вправо, другое дело, что наступил он не сразу: для того чтобы стали очевидны все его политические последствия, потребовалось около десяти лет. На этот раз агонизирует либеральная модель, а сдвиг влево становится, в общем, вопросом времени. Круг замкнулся.

Для стран – экспортеров нефти, включая Россию, рост цен на топливо означал не просто неожиданно обрушившийся на них золотой дождь, но и возможность поддерживать иллюзию экономического успеха без серьезных структурных реформ. Поскольку ни в России, ни в арабских странах, нив Мексике приток нефтедолларов не сопровождался попытками проведения серьезных инвестиционных программ, деньги, как и после нефтяного шока 1973 года, начали возвращаться в западные банки, усиливая инфляционное давление на мировую экономику в целом. В 2000 году экономика постсоветской России достигла рекордного роста в 7 % после почти десяти лет депрессии. Но именно в этот год резко усилилось и бегство капитала на Запад.

В странах– экспортерах нефти рост мировых цен на топливо создавал иллюзию благополучия, а в западных обществах– предпосылки для нового витка инфляции. Поток нефтедолларов был тем больше, чем меньше эти деньги были обеспечены в реальной экономике. Как и в 1970-е годы, за ростом топливных цен последовало снижение курса американской валюты. Валютная нестабильность превратилась в новую мировую экономическую проблему. Среди пострадавших оказались Россия и страны Ближнего Востока, продававшие нефть за доллары и покупавшие все необходимое за евро.

Структурные противоречия олигархической экономики в странах периферии не позволяли эффективно использовать поток нефтедолларов, но стимулировали, как и в 1970-е годы, политическую безответственность элит. Прежний нефтяной бум завершился чередой политических кризисов и катастроф в странах, выигравших от новых цен на топливо, – кульминацией этих процессов была иранская революция. Новый нефтяной бум создавал предпосылки для таких же политических потрясений – прежде всего в России.

Загадка американского среднего класса

Вплоть до 2000 года американская экономика более любой другой выигрывала от сложившихся правил игры и одновременно оставалась главным стабилизирующим фактором для миросистемы. Однако с началом нового столетия ситуация радикально изменилась: американский рынок не только не способен был уже «гасить» кризисные тенденции, накапливавшиеся в мировом масштабе, но и сам стал источником проблем.

Если стремительный рост биржевых курсов и надувание финансового «пузыря» в США 90-х годов не ускользнули от внимания экономистов, то рост задолженности американского среднего класса обычно не воспринимался как повод для особой тревоги. Еще меньше связывалось в общественном сознании накопление долгов среднего класса и наращивание финансового «пузыря» в Америке. Между тем эти два процесса не только были тесно взаимосвязаны, но и подпитывали друг друга. Экспансия финансового капитала не могла не сопровождаться и бурным развитием кредитного рынка. Этому способствовали как распространение новых технологий, так и общая конъюнктура рынка. При этом сами финансовые корпорации последовательно проводили политику, направленную на вовлечение в свою зону обслуживания возрастающие массы населения. Американский средний

класс оказался к концу 1990-х годов опутан долгами. Поскольку происходило это на фоне общего роста экономики, рост задолженности сам по себе не вызывал тревоги до тех пор, пока он сопровождался и ростом денежных доходов. При этом совершенно не принципиально, росли ли доходы быстрее задолженности или медленнее. Если они росли медленнее, это все равно позволяло до определенного момента поддерживать положительную динамику. Если они росли быстрее, это вело на практике не к сокращению, а к еще большему росту задолженности, поскольку рост доходов облегчал доступ к кредиту в еще большем объеме. Историк Роберт Бреннер иронично назвал происходящее «частным кейнсианством». Если в прошлом государство поддерживало экономику, «накачивая спрос» с помощью правительственных программ, то теперь то самое делали частные банки, предоставляя кредит направо и налево. С точки зрения неолиберальной теории это было вполне приемлемо. Рост дефицита государственного бюджета рассматривается идеологами как единственный источник инфляции. Напротив, частный долг, какими бы суммами он ни исчислялся и каково бы ни было его социальное значение, считается просто частным делом должника и кредитора, не имеющим никакого «макроэкономического» значения.

Начиная с первой половины 1980-х годов, когда в Соединенных Штатах окончательно восторжествовала неолиберальная модель, долг – как частный, так и государственный, и корпоративный – начал стремительно увеличиваться. В период клинтоновской «экспансии» рост долгов ускорился еще больше. Потребительский долг превысил полтора триллиона долларов. Общая задолженность по недвижимости превысила в 2000 году 6,8 триллиона долларов, более чем удвоившись за 90-е годы. При этом частная задолженность в США устойчиво превышала государственный долг (5,62 триллиона к 2000 году), который продолжал расти, несмотря на благоприятную конъюнктуру и профицит бюджета. Совокупный частный и корпоративный долг в 2001 году достиг 13,5 триллиона долларов.

Легко заметить, что рост биржевой пирамиды сопровождался точно таким же ростом долговой пирамиды. Эти два процесса являются как бы зеркальными и поддерживают друг друга. И та, и другая пирамида представляют собой фиктивный капитал в двух разных его формах. Точно так же, как акции в полном объеме не могут быть реализованы без немедленного падения котировок, так и резкое одномоментное сокращение долга вызвало бы кризис банковских институтов. Однако и наращивание пирамид не могло продолжаться бесконечно.

В социальном плане две зеркальные пирамиды как бы накладывались друг на друга. Это отражает структуру американского среднего класса, который одновременно все более залезал в долги и втягивался в биржевую игру, которая, согласно господствовавшей теории, должна была дать ему средства на обеспечение будущего и выплату долга. При этом средние слои распались на три группы: «верхи», не имевшие обременительных долговых обязательств и активно инвестировавшие средства в биржевую игру, «низы», погружавшиеся в долги и неспособные к биржевой игре, и «средняя группа», накапливавшая долги и средства одновременно. То же относится и к значительной части мелких и средних компаний, которые все более зависимы становились от внешних источников финансирования, а также от котировок на бирже. Повышение курса акций позволяло привлечь новые кредиты, и так далее.

Подобное положение дел, однако, могло продолжаться бесконечно. Начавшийся в 2000–2001 годах кризис не мог не затронуть как долговую, так и биржевую пирамиды. Однако если биржевая

пирамида могла стихийно скорректироваться, похоронив под своими обломками надежды значительной части среднего класса, то долги частных лиц могли быть списаны только по доброй воле кредиторов. Американский средний класс оказался в ситуации, во многом напоминающей ту, в которой очутились более развитые страны «третьего мира». У него не было теперь ни возможности выплатить долги, ни шансов списать их.

В 2001–2002 годах, с началом промышленного спада, обнаружилось, что американский потребитель обслуживать свой долг не в состоянии. «За время экономического бума 1990-х гг. американцы привыкли жить в долг, – отмечает ведущая российская деловая газета «Ведомости». – Банки охотно давали им в кредит деньги на товары, путешествия и покупку недвижимости. Сегодня американская экономика переживает трудные времена. Растет безработица, и многие расплачиваются за безоглядные траты. Во втором квартале не смогло оплатить долги рекордное число американцев (390 991); это на 5,9 % больше, чем в первом квартале. С июня 2001 по июнь 2002 г. о банкротстве объявили 1,47 млн. американцев (за тот же период обанкротилось 39 000 компаний)». Соединенные Штаты имеют весьма мягкое законодательство об индивидуальном банкротстве, которым граждане и не преминули воспользоваться, когда настали тяжелые времена. Но массовое банкротство должников, в свою очередь, стало превращаться в проблему, угрожающую стабильности всей финансовой системы. И, следовательно – сбережениям и рабочим местам более благополучных представителей среднего класса.

Оставался последний механизм, позволяющий решить эту проблему, – инфляция. Однако финансовый капитал, господствовавший уже практически во всех сферах жизни, не мог этого допустить.

Евроамбиции

Финансовый капитал в США мог воспользоваться специфическими преимуществами доллара. Будучи в одно и то же время национальной валютой и мировыми деньгами, доллар притягивал инвесторов, а избыточная долларовая масса распространялась по миру, снижая риск инфляции в Америке (и тем самым делая доллар еще более привлекательным). Европейские финансовые рынки не имели таких преимуществ. Именно этим, а не мнимым отставанием Европы в развитии передовых технологий, объясняется то, что «новая экономика» не получила такого бурного развития на восточном берегу Атлантики. Биржевые котировки росли, но не такими темпами, как в США. С одной стороны, европейские компании не могли выстроить финансовую пирамиду, ибо не имели ресурсов для ее поддержания, а с другой – невозможно было и наращивать кредитную задолженность компаний и населения в таких же масштабах, как в Америке.

В принципе, это можно считать признаком более здорового и стабильного развития, но сточки зрения финансового капитала, господствовавшего в Европе так же, как и в Америке, это как раз и являлось главной проблемой, источником «слабости» европейской экономики. Именно стремлением выровнять ситуацию и привлечь спекулятивный капитал на европейские финансовые рынки объясняется амбициозный проект введения единой валюты, принятый правящими классами Европейского Союза в конце 1990-х.

Став второй или альтернативной мировой валютой, евро признано было уравнивать шансы конкурентов, заразив европейские экономики всеми болезнями, от которых страдали США. Население стихийно ощущало угрозу и сопротивлялось, но, естественно, пресса и политики

списывали это на «консерватизм» и эмоциональную или культурную привязанность европейцев к старым национальным валютам.

Проект евро был столь же амбициозным, сколь и авантюрным, а главное, крайне плохо продуманным. В конце 1990-х руководство Евросоюза навязало всем странам общие правила игры, предполагавшие снижение инфляции до единого уровня ниже 3 %. Все это приняло характер одноразовой кампании в лучших советских традициях, когда страны торопились в срок отчитаться о достигнутых результатах. Беда в том, что единый уровень инфляции невозможен без выравнивания остальных параметров экономического развития, а этого как раз не происходило. Даже наоборот, в отсутствие перераспределительной политики рыночные диспропорции имеют тенденцию к росту. Хотя некоторые перераспределительные меры и проводились Евросоюзом, ставка в соответствии с общей неолиберальной идеологией делалась на рыночную стихию, что парадоксальным образом в долгосрочной перспективе как раз подрывало шансы на стабильное будущее для евро.

Новая валюта оказалась не столько символом европейской интеграции, сколько источником проблем. Она то падала, обесценивая переведенные в нее сбережения, то начинала так же безудержно дорожать, подрывая бизнес экспортеров. В едином финансовом пространстве происходило не сближение, а расхождение, ибо каждое государство имело собственные представления о том, что делать с общей валютой.

После того как одномоментно, с помощью административного и политического давления, инфляция была повсеместно снижена, она начала нарастать с еще большей силой в тех странах, которые искусственно понизили ее уровень ради вступления в еврозону. Только теперь это была уже не проблема той или иной отдельной страны, а дестабилизирующий фактор для всего европейского проекта. В самом парадоксальном положении оказалась Германия. Ведь именно немецкие элиты приложили немалые усилия для того, чтобы навязать всем европейцам общеобязательные правила. К 2002 году выяснилось, что для самой Германии эти правила оказываются далеко не оптимальными. Если грекам и португальцам удавалось всеми правдами и неправдами удерживать инфляцию на заранее запрограммированном уровне, то немецкая инфляция явно выходила из-под контроля. Южная Европа должна была смириться с неестественно низким для нее уровнем инфляции, что сдерживало рост экономики. Северная Европа, напротив, в еврозоне вынуждена была чужую инфляцию импортировать. Если для немецкой марки поддержание бюджетного равновесия было делом несложным, то, получив евро, Германия обнаружила, что бюджет не сходится.

«Сейчас похоже, что самые большие неприятности ожидают страну в самом сердце Европы – Германию, которая отчаянно пытается сократить дефицит бюджета до 3 % валового внутреннего продукта, – писал лондонский «Economist» в январе 2002 года. – Цифра в 3 % принципиально важна, ибо страны, принявшие евро, добровольно надели на себя фискальную смирительную рубашку, называемую «пактом стабильности и роста». Подобные самоограничения должны гарантировать веру в прочность новой европейской валюты. Парадоксальным образом на этом больше всего настаивала Германия. Этот пакт предусматривает для нарушителей самые суровые наказания – вплоть до выплаты штрафа, равного 0,5 % валового внутреннего продукта». Если для Германии введение евро оказалось чревато серьезными проблемами, то для стран Восточной Европы, готовившихся к вступлению в Европейский Союз, принятие евро было равноценно добровольному отказу от любых попыток улучшить социальные условия на протяжении жизни ближайших

поколений. Об этом трезво и цинично писал все тот же «Economist»: «Отказаться от права самостоятельно устанавливать учетные ставки и принять финансовую политику, которая может оказаться либо слишком жесткой, либо слишком мягкой, значит поставить под вопрос шансы на повышение жизненного уровня по западному образцу». Иностранцев такое положение дел вполне устраивало, ибо Восточная Европа была нужна западному капиталу прежде всего как резервуар дешевой и квалифицированной рабочей силы, как Мексика для капитала американского. Иное дело – население бывших коммунистических стран, которое рвалось «на Запад» именно в надежде на «жизнь как у них».

Ни к чему иному, кроме разочарования, подобные массовые иллюзии привести не могут. Чем более пышными и безответственными были обещания политиков, чем более наивно им верили, тем более неприятным оказывалось пробуждение. Выгоды для бизнеса грозили обернуться серьезными проблемами для политической системы.

Евро должно было заменить национальные валюты 1 января 2002 года. Трудно придумать менее подходящее время. К моменту, когда новые наличные деньги должны были поступить в обращение, мировая и европейская экономики находились уже в стадии спада. Это означало, что для поддержания роста или хотя бы смягчения кризиса требовалось снижение учетных ставок Центрального Банка. Но именно этого Европейский Союз не мог себе позволить, не рискуя одновременно похоронить надежды на превращение евро в реального соперника доллара, ради чего весь проект и затевался. Что еще хуже, разные страны вошли в кризис в разном состоянии.

Эффективное регулирование ситуации требовало принципиально разных подходов в Германии, Скандинавии и странах Южной Европы. Однако именно это и становилось технически невозможным делом. Единый европейский Центральный Банк был создан как раз для того, чтобы проводить единую политику.

Объединение кораблей в одну эскадру требует соблюдения определенных правил. Вся эскадра должна идти со скоростью самого медленного корабля. Если это правило не соблюдается, отстающие корабли будут потеряны и эскадра распадется. Парадокс в том, что Евросоюз не мог позволить себе ни «затормозить», ни поддерживать единый ритм движения, ни тем более потопить отставшие корабли. Страны Южной Европы не поспевали за Германией. Переход к единой валюте совпал с процессом интеграции стран бывшего Восточного Блока в Европейский Союз: Чехия, Польша и Венгрия уже стояли в первых рядах, ожидая окончательного решения. Однако не существовало ни малейшей надежды, что «новички» смогут в долгосрочной перспективе справиться с задачами, которые оказались не по силам даже странам, интегрированным в состав Евросоюза на протяжении многих лет. Европейская «эскадра» становилась еще более разнородной.

Весной 2001 года европейский Центральный Банк в очередной раз отказался понизить учетные ставки, тем самым подтвердив приверженность сильному евро – любой ценой. И в самом деле к середине 2002 года европейская валюта начала быстро «набирать вес» по отношению к доллару. Увы, это сопровождалось углублением социального кризиса, падением популярности правительств и растущим неприятием новых денег. Летом 2002 года в Германии магазины даже стали вновь выставлять ценники в уже отмененных, но привычных немецких марках.

Парадоксальным образом ценой, которую придется заплатить за «сильную европейскую валюту», вполне может стать развал единого экономического пространства и в конечном счете крах евро.

Единственная надежда для европейского проекта состояла в том, что кризис приведет к стихийному снижению курса доллара и росту инфляции в США. Однако и это не предвещало счастливого будущего евро. В данном случае европейский Центральный Банк получал возможность снизить учетные ставки и реально «отпустить» инфляцию, тем самым «притормозив» эскадру, дав возможность подтянуться отстающим. И все же это было весьма далеко от первоначальных амбициозных планов европейских элит. Вместо того чтобы приближаться к своим стратегическим целям, они теперь должны думать исключительно о сведении к минимуму ущерба от собственных прежних решений.

Политическая дилемма

История знает множество случаев долгового закабаления свободного производителя, занимавшего «среднее место» в социально-экономической иерархии общества – начиная от древнеримского крестьянства, кончая европейской мелкой буржуазией и частью белых поселенцев в Карибской Америке XVII века. В этом плане драма, переживаемая американскими средними слоями в начале XXI века, далеко не уникальна. Подобные долговые кризисы со времен античности сопровождались резким ростом социальной напряженности и появлением популистских движений. Дальнейшее развитие событий зависело от соотношения политических сил. Если популизм терпел поражение, то средние слои теряли свой статус, независимость, имущество, а порой и личную свободу, превращаясь в рабов или пролетариев. Если, напротив, они одерживали победу, то финансовый капитал не только должен был нести колоссальные убытки, но и утрачивал изрядную часть своего влияния в обществе.

Такая же точно борьба неизбежно должна будет развернуться в западных странах. На первых порах она, скорее всего, примет форму борьбы вокруг проблемы инфляции.

В период роста «верхняя» (биржевая) и «нижняя» (долговая) пирамиды уравнивали друг друга. Падение биржевой пирамиды дестабилизировало долговую, изменив соотношение сил и настроения в обществе. Мало того что значительная часть средних слоев оказалась объективно заинтересована в инфляции как последнем способе снижения долгового бремени, но и конъюнктурный союз между финансовым капиталом и производственным сектором распадается. Если в период высоких биржевых котировок производственный сектор видел в финансовом капитале локомотив развития, то теперь он видит в нем же источник своих проблем. А финансовый капитал, в свою очередь, стремится компенсировать свои потери за счет выколачивания долгов из производственного сектора. Характерной особенностью «новой экономики» было сочетание сравнительно невысоких зарплат с возможностью участия в прибыли. Крах биржевой пирамиды привел к тому, что связь между сотрудниками и реальными собственниками предприятий была подорвана, а «белые воротнички», чувствовавшие себя почти хозяевами на своем рабочем месте, оказались поставлены в положение пролетариев (если они вообще сохранили работу). В итоге «новая экономика» оказывается обречена на такой же классовый конфликт, как и «старая». Работники начинают нуждаться в повышении зарплаты и понимают, зачем существуют профсоюзы.

Мало того что финансовый капитал и его последний надежный союзник в лице топливно-энергетического комплекса вынужден отражать атаки все большего числа противников, инфляционное давление возрастает объективно. После того как второй нефтяной шок высвободил избыточные финансовые ресурсы и бросил их на рынок, правительства оказались перед дилеммой:

либо смириться с инфляцией и управлять ею, либо из последних сил противостоять ей, одновременно сталкиваясь с возрастающим недовольством ранее лояльных слоев населения. Выиграть в этой борьбе невозможно, но признание этого означало бы принципиальный разрыв и с неолиберальной моделью, и с теми группами финансового капитала, которые определяли курс правительств, независимо от партийной принадлежности, на протяжении последних десяти лет.

Обещание роста

Неолиберальная экономическая модель не обещала социальной справедливости. Но она обещала экономический рост. Придворные эксперты терпеливо втолковывали публике, что именно рост экономики является предпосылкой преуспевания. Ради роста производства придется многим пожертвовать: неравенство увеличится, придется платить за то, что раньше доставалось бесплатно, нужно будет больше и лучше работать. Но жертвы окажутся не напрасными, послушание и усердие будут вознаграждены. В конечном счете свободная торговля и приватизация ускорят экономический рост, а экономический рост рано или поздно сделает богатыми всех. Или почти всех. Или, по крайней мере, даст шанс многим.

В начале 1990-х годов это звучало убедительно. Разумеется, рост производства сам по себе не является гарантией более справедливого распределения. Но трудно спорить с тем, что в динамично развивающемся и растущем обществе решать социальные проблемы легче, нежели в обществе, экономика которого находится в упадке. Беда лишь в том, что неолиберальная модель оказалась не в состоянии обеспечить экономический рост.

Результаты двух последних десятилетий XX века оказались плачевными. Система свободной торговли оказалась не в состоянии ускорить рост производства. Экономический рост в большинстве стран был существенно ниже, чем в 1960-е годы, когда государственное регулирование, по мнению неолиберальных экспертов, сдерживало предпринимательскую инициативу и подрывало стимулы к труду.

Особенно тяжелым оказалось положение стран капиталистической периферии. «Для этих государств, – пишет американский экономист Марк Вайсброт, – две последние декады XX века были временем самых больших хозяйственных неудач со времен Великой депрессии. Только подумайте: доход на душу населения вырос в Латинской Америке на 65 % между 1960 и 1980 годами. Между 1980 и 2000 гг. он вырос всего на 7 % или, можно сказать, вообще не вырос. В Африке дела пошли еще хуже – там доход упал примерно на 15 % на душу населения». В свою очередь, азиатские страны, где сохранялось жесткое государственное регулирование, а правительства не торопились приватизировать свою собственность, продолжали расти. Наиболее впечатляющие результаты показывали Китай и Вьетнам, где, несмотря на рыночные реформы, государственное вмешательство в экономику было наиболее значительным. Напротив, страны Азии, которые под влиянием «Вашингтонского консенсуса» начали либерализацию экономики, столкнулись к концу десятилетия с наибольшими трудностями. «До 1980-х годов, – продолжает Вайсброт, – считалось нормальным, что страны с низким и средним доходом вырабатывают собственную стратегию развития. Теперь от этого отказались в большинстве случаев во имя набора готовых рецептов, включающих либерализацию торговли и финансовых потоков, приватизацию государственных предприятий и других видов дерегулирования. Эта политика, получившая название «Вашингтонского консенсуса», сначала плохо работала, а в последние годы привела к целой череде катастроф. Азиатский

экономический кризис 1998 года, например, последовал за притоком «горячих денег» на либерализованные азиатские финансовые рынки. За этим последовали финансовые кризисы в Мексике, России, Бразилии и Аргентине, подорвавшие мировой экономический рост».

Неприятности происходили всегда по одному и тому же сценарию, с готовностью повторяемому международными финансовыми институтами в каждой конкретной стране, а сами лидеры этих институтов все более напоминали русских литературных героев, спотыкающихся почему-то всегда «на одном и том же месте».

Для задыхающихся в условиях нищеты и экономической стагнации стран периферии образ преуспевающего Запада оставался последним оправданием проводимой политики. Собственные неудачи объяснялись местными условиями, некомпетентностью, коррупцией, никуда не годной традиционной культурой и обязательно нежеланием рабочих трудиться с достаточным энтузиазмом. Происходило это в странах, где люди давно уже трудились больше, чем их коллеги на Западе, и за несравненно меньшие деньги.

Для стран периферии Запад превратился в идеологическую утопию, образ счастливого будущего, образец для подражания. В свою очередь Европа смотрела на Америку, а Америка, любуясь дутыми финансовыми отчетами корпораций, внушала сама себе, что все идет нормально.

Увы, приближалось разоблачение фокусов. Неолиберализм не смог обеспечить промышленный рост. Он добился лишь беспрецедентного перераспределения ресурсов в пользу финансовой олигархии.

Начало большой депрессии

90-е годы XX века были временем больших обещаний. XXI век начался с экономических неурядиц, падения курсов акций, нестабильности валютного рынка и низкого экономического роста. Это был не просто очередной рыночный кризис. Неолиберальная модель просто оказалась не в состоянии справиться с ею же порожденными проблемами и противоречиями.

Экономические проблемы обернулись идеологическими. Хуже всего то, что эпицентром кризиса на сей раз оказалась Америка. Ведь либеральный проект на протяжении двух десятилетий внушал всему миру, что именно американская экономика – самая сильная, самая здоровая, самая «правильная», образец для всего мира. Когда в Азии в 1997–1998 годах разразился кризис, десятки экспертов дружно бросились на место событий и принялись учить некомпетентных азиатов нормам американского корпоративного управления. В отличие от коррумпированных азиатских концернов, американские корпорации представляли собой, по их мнению, образцы ответственного менеджмента и «прозрачности». Чтобы избежать коррупционных скандалов и злоупотреблений, надо было немедленно перестроить корпоративные структуры и изменить законодательство по американскому образцу. То же объясняли и русским после дефолта. Между тем в 2002 году выяснилось, что в крупнейших американских компаниях – коррупция, безответственность и фальсификация отчетности достигают таких масштабов, которые ни азиатам, ни русским даже и не снились. Обнаружилось, что американские менеджеры, освободившись от «излишней» государственной опеки, вместо того чтобы поднимать производство, принялись обворовывать потребителей и мелких акционеров, а экономика свободного рынка породила такую вакханалию приписок и фальсификации отчетности, которой могли бы позавидовать ветераны советского Госплана.

Биржевой крах 2002 года стал настоящей идеологической катастрофой для неолиберальных элит во всем мире. Поток плохих новостей даже заставил некоторых комментаторов в России и на Западе

заявить о «начале конца глобализации»: раз мировой рынок находится в столь плачевном состоянии, надо развивать свои локальные рынки. Увы, никто не объяснил, каким образом эти локальные рынки будут подниматься в условиях мировой депрессии.

Социальное значение американского финансового кризиса в Европе поняли не сразу. Тем более в Восточной Европе. Для подавляющего большинства российской публики новости с биржи даже в 2002 году оставались чем-то абстрактным. В отличие от Америки, здесь биржа отнюдь не является сердцем капиталистической системы. К счастью или несчастью, кризис 1998 года здесь серьезно подорвал позиции финансового капитала. Сила олигархов не в котировках их основных фондов, а в богатых нефтью, газом и рудой недрах, которыми они ни с кем делиться не намерены. Цена нефти в Лондоне и Амстердаме волнует их куда больше, чем стоимость акций в Нью-Йорке и Москве. Даже если эти акции – их собственные.

В России, где еще сохранились остатки социальных гарантий, мало кто осознал, насколько крах на бирже опасен для американского среднего класса. Вместе с котировками акций пострадали пенсии. Американская система заставила изрядную часть простых обывателей, не имеющих ни малейшей склонности к предпринимательству, сделаться мелкими капиталистами: пенсионные и страховые фонды играли их сбережениями на рынке. Теперь безо всякой своей вины эти люди проиграли. Западноевропейская пенсионная система к моменту биржевого краха 2002 года зависела от рынка ценных бумаг в меньшей степени, чем американская. Можно сказать, что европейцам повезло: к моменту, когда рынок ценных бумаг рухнул, европейские страны еще только начинали перестраивать пенсионные системы на американский лад.

К моменту биржевого краха инициаторы пенсионной реформы уже успели объяснить публике, насколько динамичная американская система лучше «косного европейского метода». Она стимулирует людей к труду, а будущее каждого оказывается в его собственных руках.

На самом деле, разумеется, сторонников либеральной реформы меньше всего интересовало будущее рабочих. Их интересовали сбережения трудящихся и пенсионные отчисления, которые можно будет использовать для «подогрева» сталкивающегося с трудностями фондового рынка.

Европейская концепция государственных гарантий, «социальной пенсии» и «солидарности поколений» была объявлена неэффективной, отжившей свой век, не способной стимулировать личные достижения. На протяжении полутора десятилетий динамичная американская экономика противопоставлялась «вялой» европейской, отягченной «избыточным» государственным регулированием и «излишней» социальной защищенностью. Трудолюбивый американский средний класс должен был стать образцом для «ленивого» европейца, так и не изжившего привычку к солидарности.

Биржевой кризис положил всему этому конец. Он наглядно продемонстрировал, что главным принципом рынка является именно отсутствие прямой связи между трудом и вознаграждением, усердием и успехом. Вложив свои сбережения в пенсионные фонды, представители американского среднего класса обнаружили: чем больше ты заработал ударным трудом, тем больше ты сегодня потерял.

Под угрозой оказались не только пенсии и сбережения. Рушились мифы неолиберализма. Падение рынка обернулось для значительной части среднего класса потерей веры в капитализм. Об этом писал даже такой консервативный комментатор, как Роберт Скидельски: «Финансовые рынки

падают повсюду – в Нью-Йорке, Лондоне, Токио. Люди теряют свои деньги и винят в этом капитализм. К тому же волна финансовых скандалов захлестнула Соединенные Штаты, затронув даже крупнейшие компании. Скандалы и упадок бирж взаимосвязаны: когда начинается спад, обнаруживается, что основой процветания корпораций нередко была подтасовка отчетности». В итоге, заключает Скидельски, под вопросом оказывается капитализм.

Скидельски считает это крайне несправедливым. Нельзя осуждать хорошую систему за плачевные результаты ее функционирования. Однако логика массового сознания неумолима.

Коммунистические лидеры все свои неудачи объясняли «отдельными недостатками». Сторонники капитализма, напротив, доказывали, что провалы коммунистических режимов неопровержимо свидетельствуют о несостоятельности самого принципа коллективизма. Отныне идеологам либерального капитализма приходится самим столкнуться с аналогичной проблемой.

Неолиберализм сделал Америку образцом для мира. Американская экономика просто не имела права на неудачу. Успех Соединенных Штатов должен был ежедневно доказывать, что рынок вознаграждает динамичных и передовых, наказывая неэффективных. Ведущие газеты и сонмы экспертов дружно объясняли, что азиатский и российский кризисы порождены исключительно местными условиями, и ничего подобного в США случиться не может. Не только азиатским и российским предпринимателям, но даже финнам и немцам читали лекции о преимуществах американской корпоративной культуры, основанной на «прозрачности» и «ответственности». Всем остальным надо было перестроиться по образцу американских компаний.

Проблема на самом деле не в отличиях американской экономики от европейской, азиатской или российской. Проблема в том, что Америка стала символом для всех тех в Западной Европе, Азии или России, кто преобразовывал собственную страну в соответствии с идеологией «свободного рынка». В «американский успех» верили не только правые, но и социал-демократы. Кризис 2002 года привел не только к краху многих компаний, но и к идеологическому банкротству тех, кто призывал весь мир перестроиться на американский лад.

Разумеется, отсюда не следует, будто в Западной Европе (не говоря уже о России) все обстоит благополучно. Речь о другом: Соединенные Штаты потеряли черты идеологической модели.

Америка сама по себе не была богом, но идеологи ее богом сделали. Нью-йоркская фондовая биржа и гарвардская школа экономики стали Меккой неолиберализма. Теперь апологеты свободного рынка переживали то же, что правоверные коммунисты пережили после смерти Сталина, а потом второй раз, после краха СССР. Бог провалился.

Ловушка

Даже если правящие круги готовы были бы к корректировке курса, сделать это оказывается для них почти невозможно. Дело в том, что на протяжении 1990-х годов они сами загнали себя в институциональную ловушку, которая может оказаться для них роковой.

Ключевым принципом неолиберальной «реформы» как на глобальном, так и на национальном уровне была НЕОБРАТИМОСТЬ. Это значит, что раз созданные структуры, правила и отношения в принципе невозможно уже скорректировать. Система не имеет обратного хода. Ни один из неолиберальных международных документов не предусматривает процедуры отмены принятых решений или выхода из договора отдельных стран. Раз отмененные механизмы регулирования принципиально не подлежат восстановлению.

Мало того что регулирование в принципе поставлено вне закона (парадоксальным образом – именно тогда, когда сам капиталистический класс начинает все больше в нем нуждаться), но и сами институты разрушены. Механическое их воссоздание уже невозможно, да и бесперспективно. Новый уровень развития рынка требует и новых форм регулирования. Проблема в том, что создание новой институциональной системы «с нуля» не просто сложно, но предполагает гораздо больший уровень радикализма, гораздо более острые конфликты, а главное, столь же масштабное разрушение неолиберальных порядков.

При всем желании буржуазия не сможет выйти из этой институциональной ловушки самостоятельно. Как и в 30-е годы XX века, единственным способом разрешения этого конфликта является резкое усиление и радикализация левых.

Кризис начала XXI века является не просто очередным конъюнктурным спадом в рамках «естественного» рыночного цикла. Он представляет собой результат долгосрочных процессов, происходивших в капиталистической экономике на протяжении по крайней мере двух десятилетий, и ставит под вопрос господствовавшую в эту эпоху неолиберальную модель. Иными словами, речь идет о ярко выраженном системном кризисе. XX век знал по крайней мере два таких кризиса – в 1929–1933 и в начале 1970-х годов. Оба раза кризис завершился становлением новой модели капитализма (в первом случае – кейнсианской, во втором – неолиберальной), но оба раза под угрозой было само существование системы. Хотя основная угроза системе и в 1929–1933 и в 1970-е годы исходила слева, но одновременно поднимались и ультраправые силы. В годы Великой депрессии нацизм пришел к власти в Германии, фашистская угроза была совершенно реальна во Франции. Показательно, что именно в это время сталинский режим в СССР принял окончательно тоталитарную форму. Репрессии и централизованно-замкнутая экономика стали ответом Сталина на кризис мирового рынка. Революционные движения «красных тридцатых» тоже потерпели неудачу, но социал-демократические реформы в Европе и в США изменили облик капитализма к началу 1950-х годов.

В 1970-е годы левая альтернатива была представлена чилийской и португальской революциями. Радикальные движения, потерпевшие неудачу в 1968 году, казалось, готовы были обрести второе дыхание. Но именно в это время неолиберальная модель впервые была реализована на практике военными диктатурами в Латинской Америке. Поражение левых, ставшее очевидным к концу 70-х годов, предопределило исход кризиса.

На сей раз левые имеют шанс взять реванш. Исторически левые всегда выполняли двойную роль в рамках капитализма. С одной стороны, они боролись за качественно новое общество, за социализм. С другой стороны, они реформировали капитализм и тем самым по существу спасали его. Сказанное относится не только к реформистам, но и к революционерам. Парадоксальным образом одно было невозможно без другого. Реформа требовала воздействия на систему «извне», как в политическом и социальном, так и идеологическом смысле. Без альтернативной идеологии невозможно было сформулировать и новые идеи, которые затем ложились в основу реформистских программ. Кризис капитализма в 1929–1934 годах завершился широкомасштабной реформой. Кризис 1970-х годов кончился буржуазной контрреформацией. Чем закончится кризис начала XXI века?

Неизбежность возвращения левых на политическую авансцену очевидна даже с точки зрения долгосрочных интересов самой буржуазии или, по крайней мере, определенной ее части. Причем те

левые партии и политики, что приняли правила игры 1990-х годов, становятся совершенно беспомощными перед лицом кризиса. Они не могут предложить что-то значимое трудящимся классам, но не способны уже и эффективно обслуживать правящие круги. На передний план выходят более радикальные силы. Что смогут они предложить?

Точно так же, как и в прежние эпохи, среди левых формируются два течения. Одни стремятся преодолеть капитализм, другие – улучшить его.

Итоги глобализации

Кризис начала XXI века заставляет переосмыслить итоги века XX.

Глобализация, воспетая тысячами журналистов и аналитиков, отнюдь не является чем-то новым для капитализма. Еще в 1970-е годы Иммануил Валлерстайн показал, что капитализм первоначально возникает именно как глобальная система. Национальные капитализмы (или пресловутые «локальные рынки») начинают развиваться позднее именно под воздействием процессов, произошедших в «мироэкономике». Капитализм цикличен, и это не относится только к рыночным «бизнес-циклам» подъема, спада и восстановления, наблюдаемым так или иначе каждое десятилетие. Речь идет о куда более глобальных и масштабных процессах. В 1920-е годы великий русский экономист Николай Кондратьев, анализируя динамику цен за полтора столетия, обнаружил своего рода «длинные волны» капиталистического развития. Слова о том, что «история повторяется» (вдобавок, еще и в виде фарса), стали банальностью по отношению к политическим событиям. Но это даже в большей степени относится к экономической истории.

Периоды глобализации – это время экспансии торгового и финансового капитала, эпохи, когда господствует идеология свободной торговли. Они сопровождаются варварским использованием людей и ресурсов, бурным «накоплением капитала», впечатляющими технологическими новациями, от которых никак не улучшается жизнь большинства населения.

Заканчиваются такие периоды продолжительными кризисами, военными конфликтами и революциями. По окончании подобных потрясений капиталистическая мироэкономика восстанавливает равновесие, но на сей раз господствующее положение занимает промышленный капитал, пользующийся активной поддержкой государства. Да, местные рынки начинают играть решающую роль в развитии. Но происходит это не само по себе, не потому, что бизнесмены, разочарованные в мировой экономике, бросаются вкладывать деньги у себя на родине, а потому, что меняются правила игры. Условием развития местных рынков являются протекционизм и государственное регулирование.

Первый цикл глобализации совпал с Великими географическими открытиями. Тогда же появляются первые транснациональные корпорации. Когда в середине XVI века английский король Эдуард VI отправляет экспедицию на поиски северного морского пути в Китай, он пишет сопроводительное письмо, попавшее в конечном счете не к китайскому императору, а к московскому царю Ивану Грозному. Это письмо представляло собой краткое изложение доктрины свободного рынка, мало отличавшееся от рекомендаций, которые привезли в Москву четыре столетия спустя эмиссары Международного валютного фонда.

За экспансией XVI века последовал кризис XVII века, сопровождавшийся русской Смутой, Тридцатилетней войной в Германии, гражданскими войнами в Англии и Франции. Европа вышла из кризиса под знаменем «меркантилизма», который как господствующая идеология равно

господствовал при дворе французского «короля-солнца» и московских Романовых. Это была идеология протекционизма, поощрения национального производителя, государственного вмешательства. Начался экономический подъем XVIII века, кульминацией которого стала промышленная революция в Англии.

Аналогичный цикл мы наблюдаем в XIX–XX столетиях. После промышленной революции лидирующая Британия навязывает всему миру свободную торговлю. Либеральная экономика достигает расцвета, но уже в 1870-е годы начинается затяжная депрессия. Выхода из нее искали в колониальных захватах и гонке вооружений. Положение дел лишь усугублялось. XX век начался с войн, кризисов и революций (не только в России, но и в Мексике, Китае, Венгрии, Германии). После чего начинается эпоха «кейнсианства». Нетрудно догадаться, что теория Дж. М. Кейнса, овладевшая умами мировых лидеров в конце 1930-х годов, была интеллектуально более развитой версией все того же «меркантилизма».

Технологическая революция на рубеже XX и XXI веков, казалось, вновь вернула нас к свободной торговле и глобализации. Но ненадолго. Отличительной чертой нынешней, третьей глобализации является то, что, несмотря на невероятные масштабы и огромный идеологический шум, она оказалась гораздо менее длительной, чем предыдущие, исчерпав свои возможности за какие-то 25 лет. Капитализм опять в кризисе. Это кризис структурный. И даже если рыночная конъюнктура несколько улучшится, трудности преодолены не будут. Впереди эпоха экономической депрессии, социального кризиса, политической и военной нестабильности.

В начале эры глобализации аналитики дружно связывали ее с укреплением военного, политического, экономического и культурного господства США. Но, если взглянуть на историю капитализма, нетрудно заметить, что каждый этап его торговой экспансии начинался в условиях почти безраздельного господства одной державы. По мере того как надвигался кризис экономической модели, близились к закату и опиравшиеся на нее мировые империи. XVI век начался стремительным подъемом Испании, господствовавшей во всем «христианском мире». Из кризиса XVII века Испания вышла второстепенной державой. XIX век был временем королевы Виктории, когда над Британской империей никогда не заходило солнце. А главное, Британия организовывала мировую экономику, диктовала правила международной торговли, создавала и разрушала межгосударственные альянсы. Увы, вместе с «поздневикторианской депрессией» начинает таять и мощь империи. Другое дело, что упадок империй – длительный процесс. Порой он занимает столетия. Первый признак упадка – то, что империи все чаще приходится воевать. Испанская империя войны проигрывала, Британская – выигрывала. Но как выясняется, это не имеет никакого значения. Оружие приходится применять именно потому, что экономической мощи и политического влияния уже недостаточно.

Сегодняшняя Америка демонстрирует все те же симптомы. Это империя с почти безграничной властью над миром, не способная совладать с проблемами этого мира. Нерешенные глобальные проблемы оборачиваются ее собственными слабостями, поддержание собственного господства стоит все дороже, а главное, применяемые средства становятся все менее эффективными.

В общем, для того чтобы понять, куда мы движемся, вовсе не обязательно обладать магическим даром предвидения. Достаточно немного знать историю.

Депрессивное состояние мировой экономики будет длиться до тех пор, пока радикально не

изменятся правила игры (а в конечном счете – сами игроки). Рано или поздно неизбежным становится возвращение к протекционизму и государственному регулированию. Сначала – стыдливо, тайком, в качестве временных мер, позднее – в качестве общепризнанной официальной политики. Для того чтобы «локальные рынки» развивались, их придется защищать от негативных тенденций мирового рынка.

На едином «глобальном рынке» вполне достаточно было одного «мирового жандарма», но развитие «локальных рынков» означает, что на каждом из них господствуют собственные интересы, требующие правительственной защиты. А это автоматически означает возврат к пресловутой «многополярности» политического мира.

Во время наступления глобализации «многополярность» могла сколько угодно провозглашаться в качестве политического лозунга, но события двигались в противоположном направлении. Теперь же, напротив, можно сколько угодно прославлять непобедимую силу Америки, но проблем у Вашингтона с каждым годом будет становиться больше, а друзей меньше. В Вашингтоне с недоумением обнаружили, что мир изменился, что американского лидерства больше нет, – даже покорная Россия начинает – оглядываясь на немецких покровителей – отстаивать свои права.

Мир оказался лицом к лицу с привычным империализмом. Не с безликой «сетевой» империей, о которой писали модные теоретики, а именно с традиционной имперской силой, воплощенной в Соединенных Штатах. Завоевания (и лицемерие XX века) отброшены. Миру было предложено вновь жить по правилам XIX столетия, когда несколько «цивилизованных» держав считали себя в праве диктовать свою волю всем остальным. Однако мир отнюдь не готов был вновь принять эти правила. Власть империи перестала быть самоочевидной.

Этот мир, полный конфликтов и опасностей, – прямая противоположность либеральной утопии, которой нас потчевали на протяжении двух прошедших десятилетий. Но такой исход оказывается неожиданным только для тех, кто, насмотревшись телевизионной пропаганды, искренне поверил в «конец истории».

Итак, впереди войны, кризисы и реформы. Впрочем, это лишь один из возможных сценариев. Потому что всегда остается альтернативная возможность: замена капиталистической системы чем-то иным, желательнее – чем-то лучшим. Кондратьев писал, что на рубеже циклов происходят не только конфликты, войны и кризисы, но и революции. Антикапиталистические альтернативы XX века обернулись тоталитарным кошмаром, но это отнюдь не значит, будто демократический выход из капитализма невозможен. Маркс не случайно писал, что первой задачей победившего пролетариата будет установление демократии. Иными словами, такого порядка, при котором направление развития будет определять воля граждан, а не интересы корпораций. Именно это и есть главный призыв, преследующий капитализм на протяжении большей части его истории.

Называйте его как хотите – «призраком коммунизма», «социалистической альтернативой» или «демократическим шансом». Так или иначе, но он возвращается.

Часть 4 «Сетевое» общество

История сетей

У капитализма серьезная проблема. Справиться с последствиями собственной глобальной деятельности оказалось сложнее, чем разгромить любых врагов. Более того, как в страшной сказке, на месте поверженных врагов внезапно вырастают новые, еще более многочисленные. Практика

капитализма порождает антисистемные движения и будет порождать их до тех пор, пока сохраняется сама система.

Но одно дело – противостоять системе, а другое – изменить жизнь. Главная победа неолиберализма была моральной. Нет, система не смогла убедить большинство человечества, живущее в бедности, что она хороша. Она и не стремилась к этому. Идеологический посыл был другим. Плоха или хороша, но эта система единственно возможная. Как бы отвратительны ни были пороки нынешнего общества, любое другое будет еще хуже.

Приняв этот тезис, мы обречены смириться и провозгласить: все к лучшему в этом лучшем из миров! Но капитализм создает не только своих врагов. Он дает нам опыт, позволяющий обнаружить ростки нового общества, пробивающиеся через жесткую кору старого порядка. Порой это островки солидарности, пытающиеся сохранить себя в море конкуренции. Но часто сама система нуждается в новых отношениях, культивирует их.

Хакерская этика, сетевые структуры, профессиональная солидарность вовсе не были изобретены революционерами, стремившимися подорвать основы капитализма. Напротив, они поддерживались и культивировались корпорациями. В информационную эпоху капитал просто не может развиваться, не порождая буквально на каждом шагу островки некапиталистических отношений. Иное дело, что отношения эти не могут стать господствующими до тех пор, пока не будет опрокинута политическая и экономическая власть капитала.

Капитал стремится к централизации и концентрации. Он иерархичен по определению.

Сетевые структуры культивируют горизонтальные связи. У сети два абсолютных принципа: равенство и солидарность. До тех пор пока сеть подчинена капиталу, она не может реализовать свой потенциал. Но по мере своего развития она превращается из «технологии организации бизнеса» в элемент его дестабилизации. Точнее, оказывается и тем, и другим одновременно.

В конце 1990-х годов разговоры о сетевом обществе стали модой. Эта мода охватила всех – от анархистов до бизнесменов. Между тем сетевые структуры отнюдь не являются изобретением недавнего времени. Распространение по Европе рукописных манускриптов, копировавшихся в средневековых монастырях, было подчинено тем же принципам, что и движение информации в Интернете, с той лишь разницей, что времени на все это требовалось куда больше, а «абонентов» системы было несравненно меньше. Но именно с наступлением индустриальной эпохи сетевые технологии приобрели массовый характер. Сначала почта, потом железные дороги и другие интегрированные транспортные системы, затем энергетика. Все это сети.

Необходимость интеграции сетей закономерно вела к их централизации, а затем и национализации.

Модель рыночной конкуренции, работавшая в других сферах экономики, давала сбой в сетевых структурах. Английские железные дороги первоначально строились несколькими частными компаниями, но потом их пришлось объединить в одну. В Соединенных Штатах железные дороги строились частными предпринимателями лишь к востоку от Миссисипи, где расстояние между населенными пунктами было небольшим, а экономическая активность достаточно высока. Как только железнодорожная сеть распространилась на Запад, строительство взяло в свои руки государство. Позднее также пришлось объединять разные железные дороги в одну систему. Аналогичным образом развивались железные дороги и в дореволюционной России, где их то национализировали, то приватизировали, но так или иначе государство играло решающую роль в

развитии сети.

Классическим примером, однако, является нью-йоркское метро. Оно до сих пор поражает приезжих странной и нелогичной системой пересадок, а также двумя совершенно параллельными линиями, идущими под Манхэттеном на расстоянии порой всего нескольких сот метров. Причина проста: эти две линии первоначально конкурировали между собой. Это вполне соответствовало требованиям свободного рынка, но было расточительно и неэффективно. В конечном счете систему объединил и взял в собственность муниципалитет.

В чем причина того, что индустриальные сети столь часто оказывались национализированными даже в государствах, провозглашавших свободную конкуренцию своим высшим принципом?

Дело как в самой сетевой организации, так и в природе предоставляемых сетями услуг, производимого ими продукта. Важнейшая особенность сетевой технологии состоит в том, что она нуждается в максимальной интеграции и кооперации между ее участниками. Конкуренция между частями сети (тем более если она направлена на уничтожение одного узла другим) дезорганизует всю систему в целом.

В принципе конкуренция внутри сети возможна, но не между элементами сети, а между независимыми друг от друга структурами, использующими общее сетевое пространство и единую инфраструктуру (как, например, финские провайдеры мобильной связи или английские частные автобусные компании на муниципальных дорогах). Но это чаще относится к потребителям, чем к структурам, составляющим элементы сети. Два менеджера конкурирующих компаний едут в одном поезде: это логичнее и дешевле, чем пускать ради каждого отдельный поезд или тем более строить отдельную дорогу. Но две компании, гоняющие свои частные поезда по одним и тем же рельсам, – это уже гораздо более проблематично.

Сеть нельзя делить, нежелательно противопоставлять одни узлы другим. Все участники конкурентной среды должны быть равно заинтересованы поддерживать в рабочем состоянии всю сеть в целом, а не только какую-то ее часть. Более того, неудача одного из конкурирующих субъектов может быть выгодна другому, но одновременно может наносить ущерб работе сети в целом. Тем самым конкурентные процессы все равно нуждаются в очень высоком уровне регулирования. Здесь модель идеальной конкуренции становится принципиально недостижима. Выгоды, связанные с развитием соревнования, весьма ограничены, тогда как проблемы и опасности оказываются чрезвычайно значимыми.

Именно поэтому даже британские тори во главе с Маргарет Тэтчер, стремившиеся приватизировать все и вся, колебались, когда дело дошло до железных дорог. Дело изменилось, когда к власти пришли «новые лейбористы». Бывшие социалисты с энтузиазмом принялись за приватизацию транспортных структур – им, как и всем новообращенным, не терпелось доказать, что именно они являются самыми преданными адептами религии свободного рынка.

Схема приватизации предполагала, что несколько частных компаний будут одновременно использовать одно и то же рельсовое хозяйство. Правительственные структуры в качестве системного администратора должны будут все это координировать.

Результат, как говорится, превзошел все ожидания. Мало того что система оказалась дорогой, запутанной и громоздкой, но поезда стали сходить с рельсов. Обнаружилось бесчисленное множество мелких вопросов, которые оказались в «ничейной» зоне ответственности. Расходы на

безопасность, на поддержание сети в рабочем состоянии все норовили свести к минимуму или переложить на конкурента. В принципе, каждый частный вопрос можно было решить, но с каждым таким решением система все больше усложнялась и запутывалась. Когда число погибших в железнодорожных катастрофах перевалило за сотню, а убытки просто перестали подсчитывать, правительство пообещало по той же схеме приватизировать лондонскую подземку, что вызвало ужас в столице Британии. Исключенный из лейбористской партии Кен Ливингстон был триумфально избран мэром благодаря обещанию не допустить приватизации метро в Лондоне.

Тем временем правительство столкнулось с новым вопросом: что делать, если одна из компаний, эксплуатирующая сеть, становится банкротом? Или разоряется корпорация, ведающая рельсами? Что, собственно, и случилось осенью 2001 года. Ведь остановить работу сети нельзя, не нанеся ущерба ни в чем не повинным клиентам.

Провал железнодорожной приватизации в Англии можно считать образцовым экспериментом, показавшим все противоречия, порожденные попыткой организовать сетевую среду на последовательно конкурентной основе.

В Аргентине приватизация железных дорог также привела к тяжелым социальным последствиям. Именно эта приватизация считалась одним из главных достижений неолиберального режима Карлоса Менема. Она стала одним из решающих шагов, приблизивших национальную экономику к краху 2001 года. Последствиями приватизации стало углубление промышленного спада и социального кризиса. За период приватизации число железнодорожных станций упало на 40 %. Закрытие малых станций, обслуживающих пассажиров, приняло просто характер эпидемии. Значительная часть населения страны оказалась вообще лишена железнодорожного сообщения. Ускорился упадок малых городов. А в глазах собственных жителей Аргентина превратилась в «страну без железных дорог».

Коррупция

Через приватизацию частный сектор смог присвоить собственность, создававшуюся поколениями трудящихся и построенную на деньги налогоплательщиков для решения общенациональных задач. Как отмечают аргентинские исследователи Феликс Эрреро и Элидо Вески, коррупция также является «общей чертой британской и аргентинской железнодорожных приватизаций».

Другой, не менее показательный случай – калифорнийский энергетический кризис. Приватизация и дерегулирование энергетических сетей сопровождались массовыми сбоями, безудержным ростом цен и выводом капитала из отрасли (совершенно в духе российских афер с Сибуром и Итерой). Я специально пишу «сопровождались», а не «привели к...», ибо защитники свободного рынка и сторонники регулирования дали одним и тем же процессам противоположную интерпретацию. По мнению российских и американских неолибералов, все проблемы порождены тем, что дерегулирование было проведено недостаточно последовательно (замечу в скобках, что этот тезис повторяется задним числом каждый раз, когда дает сбой либеральная модель). Увы, остаются два общепризнанных факта. Во-первых, перебоев с поставками электроэнергии не было в Лос-Анджелесе, где и сети, и генераторы принадлежат городу. Во-вторых, после введения ценового регулирования в Северной Калифорнии перебои тотчас прекратились.

За техническими проблемами стоят экономические и социальные. Например, не все линии одинаково прибыльны. Однако закрыть убыточные нельзя – они нужны людям, без них придут в упадок целые города. Более того, без них система становится нестабильна, ущербна. В любой национальной

системе железных дорог существует перекрестное субсидирование. Менее рентабельные маршруты финансируются за счет более выгодных. То же должно относиться и к телефонным, и к тепловым сетям, водоснабжению, электричеству, Интернету. Пользователь сети в отдаленной деревне получает ровным счетом ту же услугу, что клиент в большом городе. Заставлять его платить дополнительно – не только форма дискриминации потребителя, но и проявление социальной несправедливости. Такой подход сдерживает развитие сети.

Внутреннее (или перекрестное) субсидирование – своего рода экономический закон сетей. Но с точки зрения бизнеса это нелепость. Бизнес существует не ради решения социальных проблем, а ради прибыли. Расширение сети, поддержание в ней равновесия само по себе для бизнеса не имеет никакого смысла. Для рынка сеть интересна лишь постольку, поскольку она позволяет извлекать прибыль и накапливать капитал. Но попытки подчинения сетей логике капиталистического накопления дезорганизуют, убивают сеть.

Разбираться с подобными противоречиями приходится государству. С одной стороны, оно отвечает перед гражданами, требующими железнодорожного сообщения, света, тепла, информации. С другой стороны, правительства не могут себе позволить не то чтобы пойти против крупного бизнеса, но даже вызвать его малейшее неудовольствие. В итоге за все будет платить налогоплательщик. После приватизации железных дорог собственники в большинстве стран немедленно просили государственных субсидий. И получали их. Ведь в противном случае жизненно важные пути были бы закрыты.

На протяжении двух десятилетий гуру нового либерализма внушали публике простую мысль: все частное хорошо и эффективно, все общественное плохо по определению. Ни одного серьезного исследования, подтверждающего подобный тезис, естественно, проведено не было. Вернее, исследования проводились, только дали они несколько иные результаты. Сравнивая работу одних и тех же предприятий до и после приватизации, специалисты не смогли выявить никакой статистической закономерности, которая подтверждала бы преимущество частного хозяйствования. Некоторые фирмы, сменив форму собственности, стали работать лучше, некоторые хуже, в большинстве радикальных сдвигов не произошло вовсе. Точно так же результаты приватизации различались от страны к стране, от отрасли к отрасли. Но некоторые закономерности все же обнаруживаются. С одной стороны, повсюду жертвами приватизации становились социальные программы, техника безопасности, профсоюзные права и завоевания наемных работников. Одновременно повсюду рос спрос частного сектора на государственные субсидии.

Именно готовность государства субсидировать убыточные предприятия является единственным серьезным аргументом сторонников приватизации. Это, по их мнению, почти генетическая предрасположенность общественного сектора. А субсидии, в свою очередь, понижают ответственность менеджеров, делают неэффективное хозяйствование безнаказанным. Пора, однако, раскрыть страшную тайну неолиберального капитализма. Главным получателем субсидий всегда был и остается именно частный сектор. К прямым субсидиям и дотациям надо добавить всевозможные налоговые льготы, не говоря уже о раздутых правительственных контрактах и в некоторых странах гарантированных государством кредитах. Вытаскивание правительством из долговой ямы разорившихся компаний практикуется в «передовой» либеральной Америке гораздо чаще, нежели в отсталой России. Там, где государство не может прямо тратить деньги

налогоплательщика, оно организует операции, выступая для бизнеса чем-то вроде бесплатной службы спасения. В общем, чем более «рыночной» является экономика, тем больше прямого и косвенного субсидирования. Это закономерно: чем меньше объем общественного сектора, тем больше государственных денег переходит в частный.

В Соединенных Штатах в обиход вошла общественная благотворительность в пользу частных корпораций. Государственная помощь бизнесу за счет налогоплательщика исчисляется миллиардами долларов. Оказывается, в отличие от социальных пособий, подобная благотворительность отнюдь не считается зазорной, никоим образом не ведет к «паразитизму» и не разлагает общество.

Государственная поддержка крупных корпораций особенно впечатляет на фоне рассказов о «рыночной природе» американской экономики.

Потребительский суверенитет

Радикальные моралисты в Соединенных Штатах призывают покончить с благотворительностью в пользу частных корпораций. В России либеральные журналисты, обнаружив то же самое явление, приписывают его отечественной дикости, отсталости и коррупции и обещают нам, что оно уйдет в прошлое, когда в нашей стране восторжествуют североамериканские стандарты честной конкуренции.

Между тем покончить с этой «благотворительностью» можно, лишь отказавшись от самого капитализма.

Противоречие между общественными задачами и частными интересами существует объективно. И государству приходится с этим считаться (в той мере, в какой оно вынуждено заботиться об общих интересах, а не только обслуживать эгоизм господствующих групп). Попросту говоря, частный бизнес приходится постоянно подкупать, государство должно делать прибыльным то, что источником прибыли не может и не должно быть в принципе.

Единственный способ действительно решить проблему – это изъять из сферы деятельности частного сектора то, что ей не должно принадлежать.

Теория свободных рынков была сформулирована для общества, где множество независимых друг от друга мелких производителей соревновались между собой, поставляя один и тот же товар. Этот товар не только должен иметь цену, он должен четко измеряться в количестве, иметь единые для всех покупателей критерии качества. На этой основе потребитель получает выбор. Продукция в сетевых системах может измеряться количественно, но она принципиально не «штучная». Выбор не овеществляется в приобретении мною конкретного предмета. Также совершенно невозможен потребительский контроль качества в момент получения или использования товара. Электроэнергия может быть экологически более «чистой» или более «грязной», но потребитель этого непосредственно не чувствует (особенно если «грязная» энергия оказывается одновременно более дешевой, что, впрочем, не всегда так). То же относится и к качеству воды, теплу и т. д.

Единственным критерием, доступным потребителю, оказывается цена, а самым доступным способом снизить ее (и сделаться более привлекательным в глазах клиента) является экономия на решении общих, коллективных задачах поддержания сети.

Иными словами, из рынка изымается один из ключевых элементов «потребительского суверенитета». С другой стороны, современный глобальный рынок в любом случае все больше отдаляется от модели «идеальной конкуренции», описанной в либеральных теориях. Еще в конце

XIX века обнаружилось, что чем более либеральны правила на рынке, тем быстрее там происходит концентрация капитала и соответственно ослабевает конкуренция. Потому значительная часть столь ненавистного либералам государственного регулирования направлена на сдерживание монополизации и сохранение условий для конкуренции. Каждый новый виток технологической революции сопровождается обострением соревнования во вновь формирующихся отраслях, за которым следует очередная стадия концентрации капитала. Два десятилетия неолиберальных реформ в глобальном масштабе привели к небывалой монополизации рынков. Сформировалась система, которую сингапурский экономист Мартин Хор назвал олигополизированным рынком. Конкуренция здесь имеет место, но в совершенно иных формах, чем предполагает классическая теория. В отличие от модели Адама Смита, где производители действуют как бы вслепую, направляемые «невидимой рукой» рынка, десяток-другой крупнейших корпораций, доминирующих в любой отрасли, имеют прекрасную информацию друг о друге и о состоянии рынка. Они могут манипулировать ценами, создавая ложные «рыночные» сигналы, на которые будут реагировать потребители или более мелкие фирмы, они могут безнаказанно совершать весьма серьезные ошибки, ибо обладают достаточными ресурсами, чтобы погасить любой ущерб.

Аргументом в защиту подобных промышленных монополий было то, что они способны даже при концентрации капитала обеспечить определенную конкуренцию между товарами. Но в сетевых системах немислима и такая псевдоконкуренция (например, поставка нескольких сортов воды по одному водопроводу или нескольких видов электроэнергии в одной розетке). Технически это возможно, но затраты окажутся неоправданными.

Еще в XIX веке стало очевидно, что рыночная система расточительно обращается с ресурсами. В конце XX века выводы, казавшиеся очевидными для поколений, переживших Великую депрессию и две мировые войны, были не то чтобы опровергнуты или пересмотрены, а просто отменены. Однако и социализм, и кейнсианские идеи регулирования возникли вовсе не на пустом месте. Они были не чем иным, как двумя способами ответа на вопросы, которые не в состоянии была решить экономика рыночного капитализма.

Социальная ответственность

К началу XXI века не только вопросы по-прежнему остаются нерешенными, но и предлагать решения (среди «серьезной публики») категорически запрещается. Между тем масштабы проблем стали куда более большими, а расточительство капитализма грозит уже не только экономической, а глобальной экологической катастрофой.

Если конкурентная модель не работает, то максимальная эффективность в системе достигается тогда, когда она будет объединена и поставлена непосредственно на службу обществу. Этот вывод, казавшийся самоочевидным в первой половине XX века, был поставлен под сомнение в 1990-е годы прошедшего столетия, когда все связанное с социализмом и коллективизмом казалось безнадежно дискредитированным. Но полтора десятилетия неолиберальных реформ «от обратного» доказали его правильность. Сетевые структуры коллективного потребления нуждаются в коллективной собственности.

Сторонники капитала призывают нас жить по законам рынка. Что ж, пусть они сами и живут по этим законам. Ни одной копейки, цента, пенса общественных денег не должно идти частному бизнесу. Никаких государственных инвестиций не должно вкладываться в корпоративное

предпринимательство. Если субсидирование оказывается социальной, производственной или технологической необходимостью, предприятия должны переходить в общественную собственность. Если корпорация обращается к государству с просьбой о субсидиях, это надо понимать как просьбу о национализации. И это будет строго соответствовать столь любимой правыми «логике рынка». Однако политики понимают – любая успешная национализация станет прецедентом, наглядной демонстрацией лживости всей пропаганды, которой они потчевали публику на протяжении двух десятилетий. Рынок был Богом, а у Бога не может быть ошибок и недостатков. Признать ошибку божества – значит поставить под сомнение основы религии. Идеологи извели миллионы тонн бумаги, затратили несчетное количество эфирного времени и электричества, чтобы доказать избирателям, что ничто общественное работать не может, что любая национализация есть зло, что всякое государственное предприятие обязательно будет неэффективным. Любой, даже единичный, даже случайный пример, доказывающий обратное, разоблачает всех их, как лжецов. Ибо то, что они говорили нам, выдавалось за аксиому, за абсолютную истину, не нуждающуюся в доказательствах и не имеющую исключений.

Эта ложь связала круговой порукой либералов, правых популистов и социал-демократов «третьего пути». У них просто нет иного выхода, как общими усилиями, даже вопреки очевидности, в прямом противоречии со здравым смыслом, цепляться за провалившуюся экономическую политику и защищать умирающую идеологию. Ибо конец этой идеологии означает их собственную политическую смерть. «Либеральные реформы» и приватизация являются «необратимыми», независимо от того, закончились они успехом или провалом.

Северное «исключение»

Когда у защитников неолиберального порядка кончаются аргументы, они прибегают к последнему доводу: мир таков, как он есть, и другого быть не может. В интеллектуальном смысле это то же самое, что сбросить фигуры с доски посередине партии. Теоретический спор становится беспредметным, и дискуссия переходит на уровень обывательского опыта.

Антибуржуазное движение отвечает провозглашением общих лозунгов типа «Другой мир возможен!». Что, кстати, с трудом переводится на русский и некоторые иные языки – возникает подозрение, что речь идет о чем-то потустороннем, о жизни после смерти, райских кущах и так далее.

Между тем нет необходимости искать ответа на сегодняшние вопросы в какой-то другой жизни. В рамках глобальной капиталистической экономики возникают элементы новой социальной и производственной организации – начиная от «партиципативного бюджета» в Порту-Алегри, кончая «финской моделью информационной революции».

В начале 90-х годов Финляндия переживала острейший кризис. Страна, выступавшая своего рода посредником, мостом между Западом и Востоком, на сей раз пострадала от неурядиц в обоих концах Европы. Заводы встали. Тысячи людей оказались на улице. Безработица, ранее никогда не превышавшая 4 %, достигла 20 %. Финская марка упала.

Все это происходило на фоне более глубокого структурного и идеологического кризиса, охватившего Скандинавию. Глобализация означала открытие рынков, на которые хлынул поток товаров, производимых полуголодными рабочими в «третьем мире» и бывших «коммунистических» странах. Высокооплачиваемые скандинавы не могли конкурировать с теми, кто довольствовался 4–5

долларами в день. Капитал начал бежать туда, где можно было эксплуатировать более дешевый труд, не боясь профсоюзов и забастовок, где можно было не думать о всяких глупостях вроде «прав человека», а государство не приставало с высокими налогами и строгими экологическими нормами. К концу 1990-х годов, однако, положение выглядело совершенно иначе. Если в восточноевропейских странах, строго следовавших нелиберальным рецептам, положение оставалось критическим, то в Финляндии безработица сократилась, росло производство, повысился жизненный уровень.

Социальные программы сохранились – пусть и не такие щедрые, как раньше, но все же потрясающие воображение не только русских и американцев, но и европейцев. Несмотря на высокие налоги, северные страны вновь стали привлекательны для инвестиций.

Между тем, с точки зрения либеральной теории, финны все делали неправильно. Высокие налоги сохранялись, государство прямо участвовало в производственных и научных программах, сохраняя изрядную долю собственности, социальные расходы оставались на высоком уровне. По логике идеологов, такое поведение должно было закончиться катастрофой. Как назло, к началу XXI века Финляндия опередила Соединенные Штаты и по темпам роста экономики, и по размаху технологической революции.

Не то чтобы всеобщее увлечение «свободным рынком» обошло Финляндию стороной. Но в скандинавских странах слишком привыкли к социал-демократическому образу жизни. Глубокое отторжение обществом нелиберальных подходов создавало культурно-политическую среду, в которой практически невозможно было последовательно проводить подобную программу.

Посягательства на бесплатное образование воспринимались как безумие, политики, обещающие снизить налоги, вызывали раздражение избирателей.

В разгар кризиса сменявшие друг друга финские правительства сделали ставку не на свертывание социальных программ и тотальную приватизацию, а на развитие информационных технологий, которые должны были компенсировать сокращение традиционной промышленности.

В Соединенных Штатах технологический рывок тоже был первоначально профинансирован государством. Предшественник Интернета, как известно, был создан как структура оборонного ведомства США. Даже позднее, когда сеть была рассекречена и открыта для доступа частных лиц, государство поддерживало ее функционирование до тех пор, пока сеть не разрослась настолько, чтобы стать способной к самоподдержанию. Точно так же технологии мобильной связи зародились в военно-промышленном комплексе, а уже потом стали общедоступными. Однако именно здесь мы видим принципиальное отличие между «калифорнийской» и «финской» моделями. В Америке общественный сектор тоже брал на себя основные расходы и риски, связанные с инновациями, но как только новые технологии и структуры становились коммерчески прибыльными, их приватизировали. Плодами успеха пользовался частный капитал. Это и есть основной принцип современного капитализма: риски и расходы социализируются, прибыль приватизируется.

Финское инакомыслие проявилось не в том, что правительство тратило деньги на исследования, а в том, что финское общество упорно не желало передавать в частные руки плоды коллективных усилий. Постепенная приватизация, разумеется, происходила, но масштабы технологической революции в общественном секторе оказались столь впечатляющими, что приватизация, проводившаяся с северной медлительностью, все больше отставала. Именно благодаря этому плоды технологической революции сделались в Финляндии в подлинном смысле слова общедоступными.

К концу 1990-х годов спад в Финляндии был преодолен, долги успешно выплачивались, финская марка снова сделалась надежной валютой, инфляция сократилась до минимального уровня, а темпы роста составили 6 % – выше, чем в США во время последнего «бума».

«Калифорнийская модель» строит сеть как гигантский виртуальный супермаркет. Финская – как огромную библиотеку. В первом случае речь идет о покупке товаров, во втором – о доступе к знаниям, информации и социально-необходимым услугам. Для одних информация – товар, как любой другой. Для других – общее достояние, часть человеческого знания.

В Калифорнии мир поразительных технологий соседствует с грязью, нищетой и уличной преступностью, как в знаменитом фильме «Бегущий по лезвию бритвы». Жители Лос-Анджелеса уверены, что мир будущего, изображенный в этом шедевре киберпанка, не слишком отличается от их настоящего. Конфликт, соперничество, конкуренция подстегивают развитие, но оборачиваются всплесками агрессии и разрушения. Фирмы ведут смертельную борьбу друг с другом, переманивая специалистов. Если на вершине пирамиды оказалась, пусть и ненадолго, «новая экономика» с ее поразительными возможностями, то в основании – полурабский труд миллионов нелегальных эмигрантов.

С некоторых пор успех Финляндии стал уже больше, нежели частным случаем, исключением из общего правила. Финское «инакомыслие» не просто не вписывалось в общий порядок, но и стало выглядеть своеобразным вызовом, альтернативой. Оказывается, не просто можно «идти другим путем», но и добиваться на этом пути успехов. Вопрос в том, как долго может сохраниться островок благополучия на фоне нищеты и безобразия?

Рано или поздно подобные исключения сами станут правилом. Не потому, что мир сделается похожим на разросшуюся до глобальных размеров Финляндию, а потому, что появятся новые, более радикальные альтернативы.

Социализм

Капитал постоянно шантажирует правительства, грозясь убежать в другие страны. Правительства радостно поддаются шантажу, ибо играют в одну игру с финансовыми и корпоративными элитами. Оправдываясь перед общественным мнением, они скрывают главное: мобильность капитала не безгранична. Можно вывезти деньги, но эти деньги сами по себе рискуют превратиться в бессмысленные столбики цифр на экране компьютеров или горы красивых бумажек. Любое предприятие – это не только счета в банках, здания и машины. Это еще и люди. Коллективы работников, обладающих техническими знаниями, квалификацией, опытом. Эти коллективы формируются годами, и их не увезешь из страны.

Своим упорством политические и корпоративные элиты могут оказать медвежью услугу капитализму. Большинство революций начиналось с общественной потребности в реформах. Но неспособность правящих кругов осуществить назревшие преобразования подталкивала общество к еще большей радикализации. Если действующие элиты не способны сделать необходимое, значит, рано или поздно они сами становятся жертвой перемен. И, наверно, это к лучшему.

Рано или поздно «сетевой социализм» пробьет себе дорогу. Чем более жестким будет сопротивление элит, тем более радикальными станут общественные настроения. Технологическая революция, однако, заставляет радикально переосмыслить традиции коллективизма. Индустриальная эпоха требовала дисциплины, жесткой централизации, в том числе (может быть, даже прежде всего) в

сетевых структурах. Новая эпоха позволяет формировать организацию по-иному. Для среды Интернета типично представление о сетях как самоорганизующихся и саморегулирующихся. На практике возможности самоорганизации в любой сети все же не безграничны. Но как бы ограничены они ни были по сравнению с утопическим идеалом, они неизмеримо больше, чем в индустриальную эпоху.

Пролетарский социализм XIX и XX веков был пронизан дисциплиной фабрики. Он просто не мог быть другим. Новая эпоха открывает и новые возможности. Мечты об экономической демократии, увлекавшие социалистов прошлого, могут стать реальностью. Идеи производственного самоуправления, распространившиеся в начале XX века во всех концах Европы от Петрограда до Турина и Ливерпуля, первоначально принимали форму «рабочего контроля», всевозможных «фабричных советов», но неизбежно были обречены на поражение, ибо вступали в противоречие с «дисциплиной фабрики». Практика самоуправления оказалась полна романтических легенд и организационных противоречий. Почему в управление предприятием должны быть вовлечены только рабочие, производители? Как быть с потребителями или с теми, кто просто живет на одной территории с предприятием? Как быть с огромным числом вопросов, технически не связанных с производством, но прямо затрагивающих жизнь множества людей? Как согласовать противоречивые интересы – административно, путем голосования, через рынок или каким-то иным, пока неизвестным способом?

Муниципальные предприятия, кооперативы создают первичную инфраструктуру новой экономики участия. Однако они не могут оставаться изолированными друг от друга и быть предоставлены сами себе. Местный контроль неэффективен, если каждое «место» будет жить отдельно от других. Необходимо сетевое объединение, демократическая координация.

Дискуссия об энергетике будущего является показательным примером того, как вопрос становится нерешимым, если во внимание не принимаются одновременно все разносторонние интересы.

Экологически чистая электроэнергия оказывается дорогой, традиционные методы – разрушительными и приводящими к необратимым потерям, экономия энергии не может происходить спонтанно, ибо всякое существенное снижение потребности автоматически понижает и цену, что отменяет стимулы для дальнейшей экономии. К тому же любое решение требует долгосрочных инвестиций, которые имеет смысл делать лишь в том случае, если твердо определена перспектива на будущее (хотя бы на 7—10 лет вперед). Дж. Гелбрэйт в 1960-е годы писал, что долгосрочные инвестиции требуют государственных гарантий, но как показал последующий опыт, власти меняются, а деньги, полученные под такие гарантии, далеко не всегда используются эффективно. Есть, однако, нечто более важное, нежели гарантии государственных чиновников, – демократически принятые коллективные решения. Новая, экологически обоснованная энергетическая политика будет работать лишь в том случае, если в основе ее будет согласованная на разных уровнях, учитывающая разные интересы, скоординированная стратегия. Стратегия, включающая и экономию топлива, и поощрение технологических новаций, и грамотное использование традиционных источников энергии, и программы восстановления ущерба, наносимого природе промышленностью.

Все это будет работать лишь в том случае, если субъектом принятия решений станет не государство, а само общество. Государственным организациям остается лишь роль исполнителей – под жестким контролем гражданских объединений. Коллективно управляемые сети XXI века смогут создать

прозрачную структуру принятия решений. Появляется возможность для того, чтобы в управление включилось гражданское общество. Даже руководители Международного валютного фонда и Мирового Банка сочли своим долгом произнести несколько красивых слов на эту тему. Однако, включив нескольких представителей неправительственных организаций в правление корпораций или в государственные бюрократические структуры, можно лишь симулировать демократию. А заодно коррумпируют лидеров гражданских объединений. Ситуацию может изменить только создание полноценно демократической процедуры на всех уровнях, участие гражданского общества в принятии решений по всей системе снизу доверху. И демократический контроль над самими гражданскими объединениями и их лидерами.

Уже сегодня мы видим, что гражданское общество может радикально изменить свой характер. Вместо многочисленных организаций, ничем между собой не связанных, действующих самостоятельно, зачастую друг против друга, возникают коалиции, сети социальной солидарности. Эти коалиции, однако, не имеют ничего общего с тоталитарными «фронтами», ибо являются добровольными, равноправными, а их взаимодействие предполагает сотрудничество и конфликт одновременно. Вопрос в том, чтобы создать демократические процедуры, делающие решения открытыми, дающие всем заинтересованным шанс на участие. «Партиципативный бюджет», впервые испробованный муниципальными властями в Порту-Алегри, является образцом именно такой процедуры. Если бы руководители города, последовав примеру «прогрессивных» представителей международных финансовых организаций, заперлись в комнате с дюжиной-другой ими же отобранных деятелей «гражданского общества», чтобы наколдовать «социально-ответственный бюджет», результат был бы катастрофическим – как для города, так и для вовлеченных в эту процедуру организаций. Но они сделали бюджетный процесс открытым для всех, отняв его не только у чиновников, но и у «общественных деятелей». Не только государство оказалось открыто для гражданского общества, но и само «гражданское общество» поставлено под контроль «народа». Информационная открытость и демократические процедуры создают условия для новых форм управления инвестициями. Промышленные корпорации уже не могут обойтись без новейших информационных технологий, но именно эти технологии создают потенциальную возможность для общественного контроля. А следовательно, для того, чтобы, отобрав власть у корпоративной элиты, поставить производство под контроль общества. Капиталистическая иерархия оказывается под ударом. Точно так же в сфере новейших технологий появляется возможность подорвать позиции киберлордов, сделать сети доступными для всех, отменить «информационную ренту» или направить ее на общественные нужды.

В этом суть новой классовой борьбы. Социального конфликта, не только не умирающего в информационную эпоху, но, напротив, достигающего невиданных прежде масштабов и остроты.

Часть 5 Возвращение к «почве»

Антисистемные угрозы

Триумф неолиберализма сам по себе породил новые проблемы и противоречия. Система, поглощенная своим торжеством, не желала до поры сознавать этого. Однако новые угрозы оказались совершенно реальны и к концу 90-х дали о себе знать.

Первой угрозой новому порядку оказался бунт маргиналов. Идеологи и практики контрреформации, конечно, отдавали себе отчет в том, что подобное возможно и даже неизбежно, но они совершенно

не способны были предугадать, что бунт может принять действительно серьезные масштабы. Только террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне заставили весь мир заговорить об угрозе «нового варварства». Точно так же, как раньше масштабы проблемы недооценивались, после сентябрьской трагедии они стали преувеличиваться. Разговоры о «новой угрозе» и «экстремизме» превратились в идеологическую моду, оправдание государственной политики. Забавно, что в качестве панацеи авторы официальных докладов и передовых статей предлагали продолжение все того же неолиберального курса и расширение «среднего класса». Неспособность официальных идеологов проанализировать реальные причины болезни и предложить эффективные лекарства легко объяснима: система не может признать, что сама же является главным источником проблемы. По мере того как обнищание охватывает все большую массу людей, растет и социальная база для любых форм экстремизма. Идеологически протест оформляется в виде всевозможных версий фундаментализма. Это не только последователи политического ислама, убежденные, что с помощью Интернета и террористического самопожертвования можно вернуть мир в идеальное состояние, в котором он находился где-то между VII и IX веками нашей эры. Фундаменталисты – это все те, кто, протестуя против несправедливостей нового порядка, ищет интеллектуальное, политическое и моральное спасение в воспоминаниях о «золотом веке» – «чистого ислама», «национального величия», «коммунистического порядка». Этот «золотой век» не имеет ничего общего с реальностью истории. Это не более чем утопия, обращенная в прошлое. На первых порах подобные движения казались идеологам системы скорее забавными. Глянцевые журналы с удовольствием публиковали снимки обезумевших старушек, выходявших на московские улицы с портретами Сталина, и рассказывали ужасы про злодеев-мусульман, пытающихся одеть женщин в чадру. Подобные образы призваны были как раз консолидировать систему, наглядно показав тупиковость протеста. Разумные и прогрессивные люди, даже если у них и оставались сомнения, должны были все же признать преимущества либеральной западной цивилизации. Однако идеологии фундаментализма становятся опасны. Чем дальше они от реальности, тем больше их мобилизующая сила. Движения, основанные на подобных идеях, никогда не создадут нового общества. Более того, они никогда не победят, если под победой понимать не захват правительственных зданий, а осуществление в жизни сколько-нибудь последовательного социального проекта. Именно поэтому, кстати, правящие элиты Запада, несмотря на яростную антизападную риторику подобных движений в мусульманском мире, долгое время видели в них «меньшее зло» по сравнению с левыми и традиционными «национально-освободительными движениями». Истории о том, как западные разведки в годы «холодной войны» вкладывали деньги в организации радикальных исламистов (от «Братьев мусульман» и «Хамас» до Усамы бен Ладена), уже не раз опубликованы и практически не оспариваются. Чего недооценили стратеги Запада, так это разрушительного потенциала подобных движений. Да, построить новый мир они совершенно не в состоянии, но разрушить старый (или, по крайней мере, серьезно осложнить его существование) они способны. Хуже того, именно триумфальное шествие неолиберализма, американизация, сопровождающаяся культурным и материальным обнищанием большинства населения «периферии», создают беспрецедентные возможности для роста нового фундаментализма. Проблема фундаменталистского протеста в том, что он удивительным образом соединяет в себе

демократическое и тоталитарное начала, прогрессивные и реакционные идеи, надежду на социальную справедливость и слепое подчинение «избранной» элите, мечту о свободе и готовность к самому безнадежному холопству.

Подобный протест сопровождал капитализм на всем протяжении его истории. Маркс придумал для него множество издевательских названий – от «казарменного коммунизма» до «феодалного социализма». Но на протяжении большей части XX века рабочее движение было настолько сильно, что именно оно оказывалось в центре любого протеста. Фундаменталистское неприятие капитализма, попадая в мощную орбиту политического притяжения левых сил, как бы расщеплялось, разлагалось на составные части. Одни его представители усваивали идеи левых, переосмысливали свой протест в духе «передовой идеологии», другие выступали в качестве сторонников откровенной реакции, для которых именно борьба с левыми становилась важнейшей задачей.

Лишь в 1920-е годы перепуганная мелкая буржуазия смогла консолидироваться вокруг фундаменталистской программы. Причем программа эта оказалась последовательно враждебной левому движению. Итогом была победа фашизма в Италии и Германии.

После краха фашизма левые партии по всему миру оказались еще более притягательными. Однако неолиберальная контрреформация изменила правила игры. Левые силы пришли в упадок, рабочее движение терпело одну неудачу за другой, любые идеи, связанные с социалистическими преобразованиями, оказались скомпрометированы. В итоге фундаменталистский протест снова стал привлекательной альтернативой. Тем более что теперь этот протест мог проявить себя во множестве разных форм – от банд скинхедов в Западной Европе до ваххабитского ислама в Центральной Азии. Точно так же разнообразным оказался и социально-идеологический «замес» подобных движений. Они сами по себе образовали целый политический спектр: от откровенно реакционных, фашистских, погромных групп до ностальгически-коммунистических, использующих левую риторику, а порой открытых для диалога с демократическими силами.

К счастью, бунт маргиналов, принявший вид фундаменталистского протеста, оказался не единственной формой сопротивления. К концу 90-х вновь материализуется пресловутый «призрак коммунизма». Причем происходит это преимущественно на периферии.

На протяжении трех десятилетий западные корпорации систематически смещали промышленное производство все дальше на юг, отодвигая его от жизненных центров системы. Результатом оказалось появление многомиллионного рабочего класса в «новых индустриальных странах».

В Юго-Восточной Азии, Бразилии и Южной Африке возник пролетариат, вполне соответствующий марксистской теории XIX века. Как и всякий молодой класс, он постепенно осознавал свои возможности, организуясь и выдвигая все более радикальные требования.

Профсоюзы в Южной Корее или Южной Африке молоды и похожи на европейские рабочие организации начала XX века. Это, кстати, не значит, что они непременно являются революционными. Но для них даже реформизм невозможен без повседневной борьбы, солидарности и самоорганизации. Классовая борьба остается повседневным опытом, через который происходит социализация рабочего.

По сравнению с Западной Европой это вроде бы «повторение пройденного». Но если в одну реку удастся войти дважды, значит, это не совсем та же река. Потребовалось несколько поколений, чтобы европейская буржуазия ценой социальных уступок и компромиссов смогла «приручить» рабочее

движение. Теперь же на горизонте появилась новая многомиллионная масса, у которой просто нет иного выбора, кроме решительной борьбы за свои права. Хуже того, система на сей раз не располагала ресурсами и стратегией, чтобы обеспечить аналогичное «приручение». На протяжении XX века западный капитал использовал эксплуатацию «отсталых» стран, чтобы решать социальные проблемы в «передовых». Но как быть, когда те же проблемы возникли на «периферии»?

Стратегия параллельной индустриализации «третьего мира» и деиндустриализации Запада должна была сократить издержки на «приручение» традиционного пролетариата. Возвращение к политике «социального компромисса» в новых условиях требовало как раз увеличения издержек, причем в немыслимых ранее масштабах. К тому же западный рабочий, о котором правящие элиты уже почти готовы были удовлетворенно забыть, вновь напомнил о себе. Говорят, что побежденные армии хорошо учатся. Поражения 1980-х и 1990-х годов создали ситуацию, когда рабочее движение Запада начало испытывать острую потребность в новых идеях и организационных формах. Оно должно было радикализироваться или окончательно выродиться. Косная профсоюзная бюрократия стремилась жить по старым правилам, как будто не было поражений предыдущих 20 лет. Но рабочие требовали перемен.

Неолиберальный проект подрывал условия собственной реализации. Заплывшую жиром профсоюзную бюрократию потребительского общества было легко победить. Между тем многолетние неудачи рабочего движения подрывали социальную базу традиционной профсоюзной и политической верхушки, создавая потребность в появлении новых лидеров. Препятствием для этого была лишь деморализация рабочих. Опыт показывал, что сделать все равно ничего нельзя, любая борьба заканчивается унижительным поражением. Однако достаточно было нескольких побед, чтобы массовое сознание начало меняться. Во Франции таким переломным моментом стала забастовка общественных служащих в декабре 1995 года. В Италии таким же потрясением оказалась всеобщая забастовка против правительства Сильвио Берлускони весной 2002 года. Именно тогда Фаусто Бертинотти заявил, что «одинокость рабочего» подошло к концу. В России, где рабочие испытывали унижение и депрессию на протяжении 90-х годов, первым симптомом перемен стала «рельсовая война» летом 1998 года, когда шахтеры неожиданно обнаружили, что задолженность по заработной плате вполне можно получить, если перекрыть движение транспорта.

Итак, рабочая революция остается реальной возможностью. Если не в странах «центра», то по крайней мере на «периферии». И в этом смысле русский опыт 1917 года по-прежнему сохраняет свое значение. В конце концов большевистская революция тоже произошла не в Англии или Германии, как ожидали основоположники марксизма, а на «периферии» системы. Но это не помешало ей потрясти мир.

И, наконец, серьезная угроза возникла там, где меньше всего ждали. На политическом горизонте замаячило глобальное восстание среднего класса.

Многолетние усилия элит по созданию нового среднего класса принесли свои плоды. Даже в самых отсталых странах эта категория людей стала массовой. Но чем больше становится средний класс, тем труднее его удовлетворить. Тем больше ресурсов уходит на поддержание его образа жизни.

Идеологическая и социальная инерция системы такова, что численность среднего класса всюду давно превзошла экономические потребности и возможности капиталистического общества. С другой стороны, обещания неолиберализма оказались невыполненными. Ведь новому среднему

классу обещали не просто потребление, как его предшественникам в 1960-е годы, а более полную, интересную жизнь и безграничные возможности роста. Между тем на горизонте совершенно иная перспектива – неизбежная стагнация системы, дополненная исчерпанием возможностей нынешнего витка технологической революции.

Во многом ситуация нового среднего класса начала XXI века повторяет то, что произошло с интеллектуалами в 1960-е годы. После Второй мировой войны фордистское производство и потребительское общество создали условия для превращения интеллектуалов в массовый слой. Миллионы людей стали получать высшее образование. На фоне всеобщей грамотности и бурно растущей университетской системы массовой оказалась даже потребность в специалистах по древнеримской истории или немецкой классической философии, не говоря уже о более приближенных к жизни специальностях.

Но к 60-м годам выяснилось, что как бы ни росла система образования, у этого роста есть объективные границы. Вместе с прекращением роста обнаружилось, что шансы личного успеха для образованных молодых людей тоже сокращаются. Лучшие места уже заняты, а новые не создаются. Между тем система оказалась невероятно инерционной, продолжая готовить все новые кадры со все менее радостными жизненными перспективами.

На самом деле невозможность успешной карьеры сама по себе вовсе не является жизненной трагедией: человек может найти смысл жизни в совершенно иных ценностях (которые, кстати, и были тут же провозглашены движением «хиппи» и другими субкультурами 60-х). Проблема, однако, в том, что система требовала от людей именно ориентации на карьеру и личный успех, одновременно закрывая или осложняя дорогу к ним. Именно из этого противоречия рождается протест.

Итогом был великий студенческий бунт 1968 года, восстание интеллектуалов, баррикады на улицах Парижа и появление целого поколения молодых людей, для которых леворадикальные идеи стали естественной ответной реакцией на самоочевидную несправедливость мира.

Вспомним шестидесятые?

Начало XXI века порой кажется чем-то вроде «второго издания» 60-х годов. И теперь, и тогда на политическую сцену вышло массовое движение протеста, опирающееся на молодежь.

Антикапиталистические лозунги дополнились антивоенными (в 60-е годы – война во Вьетнаме, в начале XXI – агрессия против Афганистана и Ирака). Даже образы Че Гевары на майках, даже слова, скандируемые на митингах, возвращают нас к «революции 1968 года».

60-е годы – культовое десятилетие. Об этом времени положено говорить с завистью и ностальгией. Еще не закончившись, эта эпоха стала обрастать легендами.

Мир, наконец, преодолел кошмар войны. До того несколько десятилетий подряд люди готовились к войне, воевали, восстанавливали разрушенное, пугали друг друга новой войной. Сидели в концлагерях, сажали врагов народа, боролись с фашизмом, разоблачали «культ личности». И вдруг обнаружилось, что все это – в прошлом. Возникает какой-то другой мир, где можно просто наслаждаться жизнью, любить друг друга, слушать музыку, смотреть вокруг без чувства тревоги. По всем признакам должна была наступить эра обывательского благополучия. Но получилось иначе. Увидев открывшиеся возможности новой, счастливой жизни миллионы людей тут же обнаружили, насколько эти возможности остаются неполными, а счастье эфемерным. И восстали против того, что

стоит на пути к счастью.

60-е начались как эра массового потребления, а закончились под знаком социальной критики. Символом начала десятилетия должны были стать дешевые автомобили, стиральные машины, холодильники и телевизоры, в которых наконец-то можно было различить изображение. Но в конце концов 60-е годы остались в истории как время баррикад, рок-музыки, антивоенных протестов «новых левых» и бурных дискуссий о философии марксизма.

Впрочем, это на Западе. В Советском Союзе были свои 60-е. Последние, самые яркие мгновения хрущевской оттепели, смелые публикации в «Новом мире», первые самиздатовские рукописи и зарождение диссидентского движения. Для России «шестидесятник» стал такой же культовой фигурой, как и «новый левый» на Западе. И если прочитать идеологические декларации нашего «шестидесятничества», то обнаружится поразительное сходство с идеями «новых левых».

И те, и другие выступали за «социализм с человеческим лицом», апеллировали к марксистской традиции, стремясь выявить ее изначальный гуманистический смысл. И те, и другие отвергали сталинизм с его культом организации, критиковали бюрократию, доказывали ценность индивидуального самовыражения. Если сравнить, например, советского философа Эвальда Ильенкова с американским социологом Эрихом Фроммом, бросается в глаза совпадение формулировок, параллельный ход мысли.

Значит ли это, что советское «шестидесятничество» было своеобразным «аналогом» движения «новых левых»? Если так, почему же наши «шестидесятники» сами не почувствовали сходства, не заметили родства? Почему для них события в Париже и Западном Берлине оставались чем-то чуждым и непонятным. Это кажется тем более странным на фоне острого интереса ко всему западному, овладевавшего советским обществом, по мере того как приоткрывался «железный занавес». Читали книги, смотрели фильмы, слушали пластинки. Того же Жана-Поля Сартра передавали из рук в руки. Но политические идеи Сартра до читателей как-то не доходили. А уж персонажи второго плана, на Западе – культовые молодежные лидеры, такие, как Даниель Кон-Бендит или Руди Дучке, вообще никому на Востоке особенно не были интересны.

Что это – недоразумение? Своя свою не познаши? Или все-таки в этом непризнании была своя логика, глубинный смысл, скрывающийся под поверхностью культурных образов и идеологических деклараций?

Увы, именно так. Ибо советское «шестидесятничество» в глубокой своей психологической основе представляло собой нечто прямо противоположное движению 60-х годов на Западе.

На Западе критика системы ставила перед собой четкую задачу – ниспровержение сложившегося порядка. Его отвергали. От жизни по его правилам отказывались. Мечтали о революции. Напротив, советский «шестидесятник» отнюдь не считал себя врагом системы. Больше того, он совершенно не собирался ничего свергать. Он мог сколько угодно петь ностальгические песни про «комиссаров в пыльных шлемах», но революция была романтична именно как нечто принадлежащее необратимому прошлому. Она не могла иметь ничего общего с будущим.

Советский интеллигент постоянно ругал начальство. Но его главным слушателем должно было стать начальство же. Обращаясь к власти, он призывал ее взглянуть на себя и устыдиться. Он не предлагал себя в качестве альтернативы. Он пытался доказать свое право давать советы и формулировать ценностные ориентиры именно для этого порядка, именно для этих начальников.

Движение «новых левых» было массовым. И дело не только в численности участников, но и в том, что все эти участники были или, по крайней мере, считали себя субъектами движения. Советское «шестидесятничество» опиралось на широчайшую социальную базу в виде массовой интеллигенции, читавшей «Новый мир», переписывавшей песни Булата Окуджавы и Александра Галича. Но по сути движение было сугубо элитарным. «Лучшие умы» говорили, остальные слушали. Борьба за свободу слова не предполагала диалога и открытой дискуссии. «Передовые мыслители» должны были получить достойную трибуну.

Западное движение было молодежным. Это отнюдь не значит, что состояло оно только из молодых людей. Вообще-то основные «гуру» 60-х годов – Сартр, Маркузе, Фромм – были людьми далеко не молодыми. У них был бесспорный моральный и интеллектуальный авторитет. Но их молодежная аудитория не признавала дистанции. Для того чтобы учить новое поколение, они должны были взаимодействовать с ним, отвечать на его вопросы. Они могли учить, но не поучать. Именно молодежь определяла стиль, дух, динамику движения.

Среди советских «шестидесятников» тоже было немало молодых людей. Но стиль движения был совершенно не молодежный. Определяющей фигурой движения был мужчина лет тридцати, закончивший университет вскоре после войны. А главными моральными авторитетами были те, кто успел побывать на войне. Испытание фронтом придавало им вес. Младшие «единомышленники», оглядываясь на старших, воспринимали их образ мысли, стиль поведения.

Советские «шестидесятники» были аккуратно постриженными мужчинами в пиджаках, для которых верхом раскованности были небрежно повязанный галстук и папироска в углу рта. Джинсы и мини-юбки вообще появились в Советском Союзе в 70-е годы, став модой следующего поколения, воспринявшего стиль и музыкальные пристрастия, но не идеологию западных радикалов. Это было уже поколение циников, оторвавшееся от «шестидесятничества» не меньше, чем от официальной идеологии коммунистической партии.

Движение «новых левых» на Западе достигло кульминации в 1968 году на баррикадах Парижа, продолжалось в ходе «горячей осени» 1969 года в Италии. В Западном Берлине оно растворилось в повседневной культуре приходящих в упадок городских районов, захваченных скваттерами. В начале 70-х годов его участники все еще верили в надвигающуюся революцию, пытались уловить ее сигналы, приходящие уже не из главных европейских столиц, но теперь с периферии и полупериферии – из Португалии, Анголы, Чили.

В 1972 году еще выходят культовые книги Андре Горца, Герберта Маркузе. Спустя год военный переворот в Чили уничтожает надежды на революцию в Латинской Америке. Затем так же точно рушатся надежды, связанные с португальской революцией. Эпоха бури и натиска кончается.

Начинается, по выражению Руди Дучке, «долгий путь через институты». Теперь «новым левым» ничего не остается, как вступать в «старые» левые партии, чтобы изменить их изнутри. Вчерашние революционеры становятся депутатами, профессорами, функционерами.

Наши «шестидесятники» с самого начала собирались «менять партию изнутри», тем более что подавляющее большинство из них и так в коммунистической партии состояло. Однако их политический проект рухнул в один день, когда по приказу из Кремля советские танки вошли в реформистскую Чехословакию. Вечером следующего дня большая часть поборников «социализма с человеческим лицом» уже твердо знало, что марксистский гуманизм – это бессмыслица, а

демократический социализм— нелепая утопия.

С теоретической точки зрения такой поворот, разумеется, может показаться странным. Ведь попытка государства подавить идею силой оружия говорит как раз о силе идеи. Предоставив танкам исправлять идеологию, Брежнев и другие советские лидеры лишь доказали, что у них нет лучших аргументов. Именно поэтому для левых во всем мире август 1968 года был трагедией, но отнюдь не крахом. В западных странах 1970-е годы были временем нового подъема левых. Правда, мечта о революции сменяется надеждой на реформу. Это время «еврокоммунизма» в Италии и Испании, больших забастовок в Англии и «Союза левых сил» во Франции. Крушение потерпели не социалистические идеи, а иллюзии советских «шестидесятников», веривших в гуманистические реформы при поддержке усовестившегося начальства. Поражение «шестидесятнической» идеологии странным образом не означало жизненной неудачи для соответствующего поколения. Как раз наоборот, именно после окончательного краха собственных идей это поколение достигло наибольших успехов и славы. Однако оно обречено было утратить цельность. Сторонники «исправления системы» разделились на две группы. Одни в большей или меньшей степени стали конформистами. Они продолжали по инерции подниматься вверх по карьерной лестнице, совершая тот самый «долгий путь через институты», только без всякого политического проекта, без внятной идеологии, просто так, по инерции или для собственного удовольствия. При этом они отнюдь не отрекались от собственного прошлого, а тем более от прежних связей, оставаясь более или менее сплоченной группой. От идеологов и функционеров прошлого их отличала именно эта товарищеская сплоченность при полном отсутствии общего проекта. Еще недавно они бунтовали против системы, одновременно заявляя, что разделяют ее основные принципы. Теперь они перестали бунтовать и стали успешно продвигаться по службе, презрительно отбросив эти самые принципы. Другие, более смелые, а иногда просто более наивные, стали диссидентами. Они порвали с системой, которую когда-то мечтали реформировать. Но позитивную программу они утратили точно так же. Идеологию общественного преобразования заменили правозащитные принципы, дававшие, по крайней мере, моральную опору в противостоянии с государством.

Надо сказать, что западные левые постоянно надеялись увидеть в диссидентском движении себе подобных. Им упорно казалось, что диссиденты в Восточной Европе должны быть похожи на борцов за демократию, которых сотнями тысяч бросали в застенки в странах Азии и Латинской Америки. Должны же быть какие-то общие ценности! К тому же постоянно вспоминалось «шестидесятническое» прошлое. Ведь эти люди вступили в конфликт с системой во имя социалистического гуманизма, они выступали в поддержку коммунистов-реформаторов в Чехословакии в 1968 году. Значит, рассуждали западные левые, перед нами должны быть если не единомышленники, то хотя бы партнеры по диалогу.

Они ошибались. Протянутую руку западных левых диссидентское движение либо не замечало, либо возмущенно отталкивало. Природа не терпит пустоты, и идеологически нейтральные правозащитные принципы постепенно вытеснялись идеями «новых правых». Московская и ленинградская интеллигенция – как в диссидентской, так и в конформистской своей части— проникалась симпатиями к миссис Тэтчер, Рональду Рейгану, а главное – к генералу Пиночету.

Преклонение советских «демократов» перед генералом Пиночетом— слишком известный и впечатляющий факт, чтобы его можно было бы обойти стороной. Впрочем, никто этих симпатий

скрывать и не пытался. Когда в конце 1980-х цензурную плотину, наконец, прорвало, через нее хлынул такой поток чудовищных заявлений, что становилось страшно и стыдно одновременно. Если собрать все тексты, в которых столпы демократического движения в бывшем СССР выражали свою любовь к этому персонажу, получится даже не один увесистый том, а многотомная энциклопедия, в которой вы найдете почти все известные имена столичной интеллигенции, отмеченные наградами партии и правительства или, напротив, длительными сроками тюремного заключения.

Отчего же люди, искренне считавшие себя в России демократами, восторгались лидером, который для всего остального мира стал символом самой безжалостной диктатуры? Во-первых, потому, что демократия и цивилизация для них были равносильны антикоммунизму. Эту формулу, кстати, вывел не кто иной, как Александр Зиновьев, позже печатавшийся в коммунистической прессе.

Следовательно, чем больше будет посажено в лагерь, сослано и убито людей, разделяющих коммунистические взгляды, тем полнее торжество демократии. И всех, кто защищает коммунистов, кто не понимает необходимости расправы с ними, тоже необходимо уничтожать во имя торжества свободы.

Неудивительно, что Ноам Чомский назвал российских интеллектуалов «чудовищами». Но «чудовищами» они не были. Они были лишь аполитичными людьми, самозабвенно занимающимися политикой. В этом и состоит второй аспект проблемы. Ведь люди, которые так говорили и думали, порой до последнего момента сами оставались в коммунистической партии, делали в ней карьеру и даже под конец стали занимать в ней руководящие посты. И они не были ни двурушниками, ни лицемерами. Они просто не верили в силу идей. Потому-то для них идейные люди становились тем более противны и ненавистны, чем более высокое место они сами занимали в официальной иерархии – политической и культурной.

Беда в том, что демократами в строгом смысле слова «шестидесятники» не были. Отказ от сталинизма, с которого начался их политический путь, еще не равнозначен последовательному демократизму. Для них «демократия» была прежде всего победой «наших». Власть «своих». И вот настал момент торжества. Перестройка востребовала «шестидесятников». Советское начальство в середине 80-х неожиданно совершило именно то, о чем мечтали молодые интеллектуалы за двадцать лет до того. Взглянув в самодельное кривое зеркало гласности, власть ужаснулась собственному отвратительному оскалу и срочно вызвала на помощь «демократическую интеллигенцию». Свершилось! «Шестидесятники» были наконец призваны во власть. Правда, некоторые из них к тому времени сами уже стали властью.

Диссидентов срочно вернули из ссылки, лагерей и даже из-за границы. Правда, им отведена была преимущественно декоративная роль. Победили в конечном счете не диссиденты, а конформисты. «Долгий путь через институты» завершился полной победой. Это было логично. Ведь «шестидесятники» начали с утверждения о жизненности основополагающих принципов системы, значит, теперь, достигнув в ней вершин власти, они должны систему, в соответствии с ее изначальными постулатами «исправить». Из каких-то архивов были извлечены все идеи и лозунги двадцатилетней давности. Но попользовались ими совсем недолго. Ибо, увы, в эти лозунги теперь уже сами их владельцы не верили. Да и начальство, призвавшее интеллектуалов на подмогу, было далеко не так наивно, как могло показаться на первых порах. Секретарям обкомов партии стало тесно в серых пиджаках, унылых кабинетах и неказистых «Волгах». Им хотелось стать частью

мирового правящего класса, и старая советская идеология только мешала. В свое время Троцкий сравнивал советскую систему с коконом, которым покрывается капиталистическая гусеница, чтобы превратиться в социалистическую бабочку. При этом, пугал он, кокон может погибнуть, так и не став бабочкой.

В 1980-е кокон был окончательно отброшен, но вылетела из него не бабочка, а чудовище. К тому же вполне капиталистическое. «Шестидесятники» были востребованы не для того, чтобы омолодить и очистить «первоначальную» советскую идеологию, а для того, чтобы ее окончательно разрушить. Правда, и партийная номенклатура в процессе разрушения не всегда получила то, к чему стремилась (вернее, не всегда желаемое получили именно те, кому это предназначалось). Но в целом все прошло удачно. И «шестидесятники» разделили славу победы с коррумпированными функционерами. Те, кто обещал «обновить» систему, без колебаний признали свои заслуги в деле ее «разрушения». Забавным образом в это же время подошел к концу и «долгий путь» западных интеллектуалов. Они тоже достигли постов и должностей – в правительствах, парламентах, всевозможных международных организациях. Но институты оказались сильнее, чем думали когда-то молодые радикалы. Система благополучно переварила бывших бунтарей. Это была «свежая кровь», столь необходимая для ее укрепления.

Значительная часть протестующих превратила бунт в инструмент личной карьеры, с помощью которого им удалось достигнуть положения вполне уважаемых профессоров и политиков. Неслучайно именно выходцы из поколения бунтующих студентов к концу 1990-х годов заняли видные позиции в социал-демократических правительствах Франции и Германии, а кафедры одна за другой оказывались в руках у бывших бунтарей, избравших академическую карьеру. При этом радикальные настроения сменялись буржуазным здравомыслием прямо пропорционально их продвижению по карьерной лестнице.

Происходило это, однако, на фоне общего поражения левых сил и наступления контрреформации. Рациональный выбор вчерашних бунтовщиков сводился к формуле: если все равно нельзя решить проблемы для всех, надо позаботиться о себе.

Разумеется, далеко не все лидеры «новых левых» превратились в бессмысленных бюрократов. Многие сохранили верность идеалам молодости. Тем более это относится к рядовым участникам движения. Именно эти люди в 1999–2002 годах передали эстафету «поколению Сиэтла». Они рассказали о романтическом прошлом, подсказали нужные слова и предостерегли от ошибок. Но странным образом те, кто сохранял твердость и последовательность, оказались вне поля зрения массмедиа. Эти люди оказались для прессы неинтересными «неудачниками», которые не захотели (не смогли?) конвертировать свою революционную славу в буржуазный успех. На переднем плане, естественно, оказывались другие, «успешные» деятели культуры и политики, демонстрировавшие впечатляющие образцы «примирения с действительностью». А «неудачники» – не в счет. Успех – единственное, что привлекает буржуазное сознание. «Успешные» представители «шестидесятничества» стали банкирами, преуспевшие западные революционеры сделали министрами, не проявляя склонности даже к умеренным реформам в рамках системы.

Выходит, наши «шестидесятники» и западные «новые левые» совершили нечто прямо противоположное тому, что обещали. Победили принципы иерархии, подчинения, восторжествовал принцип привилегий. Утопия социальной несправедливости реализована в максимально возможной

полноте – не без помощи тех, кто обещал бороться за идеал справедливого мира. Значит ли это, что бунты 1960-х были бессмысленными? Вовсе нет. Ибо судьба идей богаче и интереснее, чем судьба породивших их поколений. Книги «бунтарского десятилетия» снова вошли в моду в тот самый момент, когда сами молодые бунтари окончательно превратились в пожилых бюрократов и унылых коррупционеров. Новое поколение радикальных молодых людей вышло на улицу с хорошо знакомыми лозунгами. Значит ли это, что все пойдет по второму кругу? Отнюдь. Ибо нынешнее движение гораздо мощнее и масштабнее того, что происходило в 60-е годы. Социальные корни нового движения несравненно глубже. Точно так же, как несравненно масштабнее и трудности, с которыми сталкивается сама система.

Новое радикальное движение отличается от выступлений «новых левых» уже тем, что его активистам и лидерам известен опыт прошлого. Как бы ни романтизировались 60-е годы, сколь важным ни был бы культурный импульс, который они дали левому движению, вернуться туда невозможно. Главная слабость 60-х годов была в отсутствии организованных движений. Стихийные выступления, массовые протесты не смогли заменить собственных политических структур. Потерпев неудачу в первой атаке, интеллектуалы и лидеры отправились в «долгий путь через институты» самостоятельно. Неудивительно, что при всех благих пожеланиях они не имели никаких шансов что-либо изменить. Кроме самих себя, разумеется.

Новое движение имеет шанс оказаться чем-то большим, нежели ярким, но кратковременным всплеском молодежной политической энергии. Оно вплотную подходит к необходимости создания собственных альтернативных институтов (и Социальные Форумы – только одна из многих возможных форм). Оно обязано критически осмыслить не только причины бюрократического вырождения «традиционной левой», но и неудачный опыт «новых левых». И все же «новые левые» так или иначе оставили политическое наследие радикалам следующего поколения. Борьба, начатая, но не завершенная в 1968 году, должна быть продолжена – другими людьми, в других условиях и по-другому. Что же касается советского «шестидесятничества», то его политическое наследие оказалось столь ничтожным, что для нынешнего поколения активистов в Восточной Европе это скорее исторический казус, забавный эпизод прошлого, не более. Вдохновение они черпают именно в 60-х годах, но не советских, а западноевропейских. В этом, пожалуй, проявилась окончательная моральная катастрофа «шестидесятничества».

Когда революционная волна 1960-х годов схлынула, многим показалось, что с радикализмом покончено раз и навсегда. «Примирение с действительностью» многих бывших лидеров молодежного протеста действительно свидетельствовало о способности системы преодолеть любое недовольство, приручить любых бунтовщиков.

Но восстание 60-х годов оказалось далеко не последним. Многие радикальные лидеры достигли личного успеха, отказавшись от идеалов движения. Но значит ли это, что движение было окончательно повержено? Нет. То был первый неудачный эскиз. Каждая новая попытка освобождения будет серьезнее и успешнее.

Лишь на первый взгляд кажется, что ситуация 1960-х в начале XXI века воспроизводится. На самом деле масштабы конфликта на сей раз оказались совершенно иными и движение несравненно более мощным.

Положение среднего класса оказывается неустойчивым. Это не только ограниченность

возможностей карьерного роста, но и нарастающие материальные трудности. С этими трудностями до поры удастся справляться, но чем дальше, тем очевиднее, что будущее не выглядит светлым. Неолиберальная модель с ее культом потребления пожирает общественные ресурсы, используя их для удовлетворения частных интересов. Вакханалия грабительской приватизации в бывшем Советском Союзе была лишь крайним случаем общемирового процесса. То, что было создано обществом, становилось достоянием немногих избранных. Но самих этих избранных было немало. А еще больше было таких, что надеялись попасть в круг избранных. Или тех, кому перепадали маленькие куски от раздела большого пирога.

Проедая запасы, накопленные на протяжении 60–70-х годов XX века, общество могло двигаться вперед. Причем речь идет не только о материальных вещах (созданной за государственный счет инфраструктуре, оборудовании приватизированных фабрик, разведанных за счет правительства месторождениях), но и об идеях, технологиях и теориях, порожденных общественными усилиями предшествующих десятилетий.

Когда ресурсы кончились, общество столкнулось с кризисом. Именно тогда средний класс обнаружил, насколько неустойчиво его положение. При этом сам средний класс начал все более расслаиваться как по уровню благосостояния, так и по образу жизни.

Когда опускается рабочий класс, перестает подниматься средний класс. Нарастающая бедность оказывается угрозой даже для тех, кто устроен относительно благополучно. Вместе с бедностью растет преступность, приходят эпидемии, распространяется грязь. Средний класс еще может защитить себя от всего этого, но отныне требуются специальные усилия просто для поддержания своего привычного образа жизни. Особенно заметно это на «периферии» капиталистической миросистемы. Чем острее проблема бедности, тем сильнее она сказывается на образе жизни «обеспеченной части общества». Более благополучные группы начинают прятаться от внешнего мира за заборами охраняемых жилищных комплексов, отправляя детей в привилегированные учебные заведения, перемещаясь по улицам исключительно на автомобилях. Жизнь начинает терять краски. Это комфорт жителей осажденной крепости. Менее благополучная часть среднего класса оказывается обречена ежедневно соприкасаться с неприятной реальностью массовой нищеты, с ужасом думая о том, что случится, если ей самой придется опуститься еще ниже.

Возвращение к «почве»

Относительно глобализации, изменившей мир, написано множество банальностей. Рассказы про то, как сужается пространство, как события, происходящие в разных частях мира, влияют друг на друга, которыми заполнены популярные статьи и книги, на самом деле совершенно не оригинальны. Нечто подобное писали еще участники крестовых походов, потом голландские купцы XVI–XVII веков, затем английские публицисты Викторианской эпохи. Разумеется, современные информационные технологии ускорили все глобальные процессы. Но для общества принципиально важна не скорость протекания процесса, а его направленность, его результаты.

И все же современная глобализация действительно изменила мир. Только произошло это не так, как кажется при поверхностном взгляде. На «периферии» исчезла или ослабела национальная буржуазия. Местные элиты оказываются все более тесно связаны с элитами глобальными, точнее, западными. В отличие от национальной буржуазии двух прошедших столетий, транснациональные элиты не собираются конфликтовать с «имперскими» правящими классами, бороться за независимость и

отстаивать культурную самобытность. В свою очередь, все те, кто по тем или иным причинам оказался за бортом транснациональных элит, испытывают к ним постоянно возрастающую зависть и неприязнь. Ведь эти новые элиты маргинальны по отношению к обществу, в котором живут. Это своего рода привилегированные глобальные бомжи, рассматривающие любое общество, в котором им довелось разместиться, как своего рода помойку, источник почти дармовых ресурсов, случайную внешнюю среду, не имеющую никакой самостоятельной ценности. Неудивительно, что конфликт «западников» и «почвенников» распространяется по всему миру со скоростью лесного пожара. Другое дело, что «почвенники» мало что могут противопоставить своим оппонентам. Сколько бы они ни говорили о великих национальных традициях, призыв повернуться спиной к миру не вызывает одобрения масс. Беда голодных масс ведь не в том, что мир глобальной цивилизации для них плох, а в том, что их туда не пускают. Для них там просто нет места: благосостояние одних строится на дешевом труде других. Культурные ценности здесь не главное, проблема в заработной плате. А еще в том, что бурное развитие глобальных рынков сдерживает (а зачастую даже подрывает) развитие местных рынков. Все арифметически просто. Экспортерам нужно, чтобы заработная плата внутри собственной страны была как можно ниже. Тем, кто ориентирован на внутренний рынок, нужно, напротив, чтобы заработная плата росла, а вместе с ней и покупательная способность основной массы населения.

Между тем общество делится все же не только на элиту и массу. Есть еще и средний класс, который политики и журналисты необдуманно провозгласили «опорой стабильности». Вообще-то большинство революционеров и практически все известные террористы вышли именно из среднего класса. И это неслучайно. Что бы ни думали поклонники буржуазных ценностей, человек является примитивным существом, для которого все сводится к уровню потребления. Все сложнее и противоречивее.

На фоне обнищания населения в России впервые со времен Первой мировой войны происходило формирование целого слоя людей, которым были доступны радости западной жизни. Дороги наполнились дорогими автомобилями, пригороды Москвы и Петербурга украсились новыми загородными домами, в бутиках изящно одетые дамы стали выбирать себе наряды, советуясь с подругами по мобильному телефону. Точно то же происходило в 1990-е годы в Индии, где наблюдался настоящий потребительский бум на фоне голода. В то время как средний класс почувствовал вкус к роскоши, в стране впервые с колониального времени сокращалось потребление продовольствия.

Став транснациональным сообществом, средний класс стал формировать соответствующий образ жизни. Работу можно искать не только на родине, но и за границей. В отличие от нелегальных иммигрантов из России и Мексики, проникающих в Западную Европу и Соединенные Штаты для того, чтобы занять низшую ступень социальной лестницы, молодые профессионалы легко вписываются в местную жизнь. Они въезжают по законным визам, им предлагают хорошие контракты. Для семьи среднего класса в Индии становится совершенно нормальным иметь родственников в Америке или Англии. То же самое, пусть и в меньшем масштабе, наблюдается в России, Польше. А уж деловые поездки за границу становятся частью повседневности.

Казалось бы, по всем этим критериям новый средний класс – в числе привилегированных, выигравших. Но есть существенное отличие – он не имеет власти. Даже контроля над собственной

работой, собственным будущим. Неустойчивость мировой экономики оборачивается для его представителей личными драмами. Преуспевающие менеджеры в Уругвае могут оказаться на улице из-за биржевого краха в Нью-Йорке. Тысячи людей в России утратили свое положение в результате азиатского кризиса 1997–1998 годов, который, в свою очередь, предопределил русский дефолт несколько месяцев спустя. За этим последовали сложности в Латинской Америке. Русские недоумевали: почему им стало плохо из-за неприятностей в Таиланде? Бразильцы никак не могли понять, почему их реал обесценивается после краха русского рубля.

Благополучие среднего класса уязвимо и неустойчиво. И неустойчивость эта возрастает по мере развития глобализованного капитализма. Чем больше проходит времени, тем более очевидными становятся проблемы и противоречия восторжествовавшей на планете неолиберальной системы. А чем острее кризис, тем дальше расходятся пути элит и средних слоев. Для того чтобы элиты могли удержать свое положение, им надо чем-то жертвовать. У обнищавших масс отобрать уже нечего. Приходится жертвовать благополучием среднего класса. Или хотя бы какой-то его части. Выбросить за борт соседа с нижней палубы всегда приятнее, чем бросаться в пучину самому.

Индийский экономист Джайати Гош как-то заметила, что средний класс живет в «глобальном мире» во время бума, но кризис возвращает его на родную почву. Крушение рубля в 1998 году оказалось для многих людей этого слоя концом всего привычного образа жизни. В опустевших бутиках бессмысленно висели изящные платья, которые никто не мог купить. Дорогие машины на улицах казались призраками самих себя – у сидевших за рулем людей уже не хватало денег на бензин. Владельцы шикарных иномарок стали подрабатывать извозом. После аргентинского краха средний класс бросился на улицы Буэнос-Айреса, гремя пустыми кастрюльками и круша все вокруг. В отличие от транснациональной буржуазии, средний класс, даже в эпоху глобализации, не может полностью оторваться от своих корней. У него просто нет для этого средств. Его представители могут более или менее свободно перемещаться по миру в поисках работы, но они не могут так же свободно перемещать свою собственность. Парадокс в том, что чем большего они достигли, тем больше они привязаны к одному месту. Человек, у которого ничего нет, кроме знаний, легок на подъем. Но построенный дом или посаженное дерево, с трудом завоеванная должность и просто сложившиеся за годы жизни отношения с коллегами и соседями тянут его к «почве». В конце концов при всей стандартизации быт среднего класса отнюдь не однороден глобально. Ведь он не только потребляет, но и создает собственную культуру (на что предпринимательская элита, естественно, не имеет ни времени, ни желания). Потому каждая международная мода оборачивается местной спецификой, любое глобальное направление – собственными, местными «звездами», а общий стиль обрастает своеобразными вариациями. Именно эти «маленькие отличия», пользуясь выражением Тарантино, и составляют плоть культуры.

В странах «периферии» средний класс может наслаждаться всеми преимуществами современной цивилизации, но не может, в отличие от элит, и отгородиться от большинства, отторгнутого этой цивилизацией. Реклама элитного жилья в Москве обещает покупателям дома, где вы будете общаться «только с людьми своего круга» (прислуга не в счет). Такую же точно рекламу можно найти в Йоханнесбурге или Мехико. Средний класс не может позволить себе отгородиться от большинства сограждан такой же стеной. И дело не только в стоимости элитного жилья, остающегося для него недоступным. Дело и в его социальной функции. Кто-то должен находиться

между «элитой» и «массой». В противном случае общество просто перестало бы существовать. Пока система развивается успешно, средний класс может выполнять роль связующего звена, своего рода толмача между транснациональной элитой и обществом. Но в условиях кризиса роли меняются. И именно средний класс готов предъявить счет элите от имени общества, взяв на себя задачу выразить, сформулировать и обобщить требования до недавнего времени «бессловесных» масс. Социальная несправедливость становится личной проблемой, а мысль об униженных и оскорбленных не дает спать по ночам.

В начале XXI века средний класс переживает в странах периферии настоящую катастрофу. Система уже не может поддерживать его существование. Как бы ни был этот средний класс мал по отношению к массе населения, он одновременно и слишком велик по сравнению с возможностями нищего общества. От Зимбабве до Бразилии, от России до Аргентины – повсюду растет разочарование, порой смешанное со страхом и озлоблением. Для того чтобы средний класс сохранил свое положение, он должен изменить общество. Консерватизм оборачивается бунтом, стремление жить по-старому – революционностью. Но кто поведет за собой разочарованный средний класс? Какие политические силы возглавят возмущение?

Опыт Западной Европы показывает, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Средний класс распадается на «традиционные слои», достигшие своего положения задолго до информационной революции, и новые слои, обязанные своим благосостоянием технологическим новациям. Неуверенность испытывают и те, и другие. Одни опасаются дальнейшего сокращения традиционной промышленности и следующего за этим упадка выросших на ее основе городов. Другие обнаруживают, что технологическая революция, при всем ее блеске, не оправдала их социальных ожиданий. Традиционный средний класс начинает сближаться с маргиналами. Новый чувствует себя обманутым и оскорбленным.

Глобализация капитализма породила, таким образом, не только транснациональную элиту, но и новый средний класс, готовый стать ее могильщиком. Этот средний класс является одновременно «глобальным» и «локальным», он включен в мировую систему взаимосвязей и привязан к национальным культурам, он пользуется новейшими информационными технологиями, но страдает и от убожества и отсталости повседневной жизни в «периферийной» стране. В общем, он глобален и национален одновременно.

Неудивительно, что именно средний класс рано или поздно становится источником проблем. То, что журналисты бездумно окрестили «антиглобалистскими движениями», на самом деле представляет собой восстание среднего класса, повернувшегося против транснациональных элит. Именно поэтому волнения, начавшиеся в Сиэтле, распространились сначала на Западную Европу, а затем на Латинскую Америку. В глобализованном мире возникает новая стихийность, новый радикализм. Подобный бунт всегда совпадает с «поколенческим разрывом». Таким же, как разрыв между «отцами»-либералами и «детьми»-революционерами в России второй половины XIX века или «старыми» и «новыми» левыми в Западной Европе конца 1960-х. Для России рубежом такого разрыва стал 1998 год, продемонстрировавший, чего стоят обещания элит. В Латинской Америке кризис разворачивается на наших глазах.

В общем, социальные перемены, начавшиеся в 1980-е годы с глобального торжества неолиберального капитализма, еще далеко не закончены. Самый интересный и драматичный эпизод

еще впереди.

Часть 6 Закат социал-демократии

Крушение «нового центра»

В конце 1990-х годов политическая карта Западной Европы окрасилась в розовый цвет: в одной стране за другой к власти приходили социал-демократические правительства. Случилось это после, по крайней мере, десятилетия упадка левых партий. Причем внешне успех социал-демократии превосходил даже то, чего она добилась в «золотое» для себя послевоенное время. Но этот триумф был недолгим. Победы на выборах лишь выявили страшную правду: за двадцать лет социал-демократия сама стала частью неолиберальной системы. Умеренные левые не были альтернативой. Они оказались последним резервом неолиберализма.

Предыстория этого успеха в разных странах была разной, но неожиданно политическая картина повсюду выглядела похоже. Лейбористы возглавили Англию после целой эпохи пребывания в оппозиции—18 лет правления консерваторов. Причем новый лейбористский кабинет министров получил такое подавляющее большинство в парламенте, которого не знал ни Клемент Эттли, ни Гарольд Уилсон, пришедшие к власти на волне массовых надежд. То же произошло с немецкими социал-демократами. Французские социалисты, напротив, правили страной в течение большей части 1980-х и серьезно себя дискредитировали. И тем не менее на общей волне они тоже вернули утраченные позиции.

В Италии левые раньше никогда не возглавляли правительство. Крупнейшая в Европе коммунистическая партия была обречена оставаться в оппозиции. Вначале 1990-х будущее итальянских левых выглядело более чем мрачно: социалистическая партия разваливалась в результате беспрецедентных коррупционных скандалов, а коммунистическая переживала «кризис идентичности» под влиянием распада СССР. Созданная на ее месте Партия демократических левых, не имела ни харизматических лидеров, ни героической истории. Вялая, скучная, политически аморфная, эта организация, казалось, обречена была на медленное умирание. Вместо этого она смогла сделать то, чего не добились коммунисты за полвека героической борьбы: возглавила страну. Подобные успехи заставили легкомысленных политологов рассуждать о новой социал-демократической гегемонии в Европе. Партийные лидеры, торжественно восседаая в правительственных кабинетах, рассуждали о причинах своих блестящих побед. Общепринятая теория, разделяемая идеологами, журналистами и функционерами, состояла в следующем: в течение 1970-х годов социалисты отпугнули от себя публику чрезмерным радикализмом, утопическими надеждами на преобразование общества. Рабочий класс, на который они раньше опирались, уходит в прошлое. Под новым умеренным руководством они смогли опереться на средний класс, который полностью разделяет рыночные ценности. Отказавшись от социалистических утопий и бесплодного реформирования, социал-демократы, наконец, нашли свое место в изменившемся мире, став «новым центром».

Необходимо измениться вместе с обществом, даже если это означает разрыв с собственным прошлым. Приняв рыночную веру и провозгласив частную собственность своим богом, социал-демократия, наконец, вновь обретает способность выигрывать выборы, утраченную в 1980-е годы. Неясным оставались, однако, некоторые вопросы. Если социал-демократы приняли идеологию своих оппонентов, в чем разница между ними и консерваторами? Лидеры германской и британской партии

Тони Блэр и Герхард Шредер, опубликовавшие манифест «нового центра» (третьего пути), очень уверенно и убежденно говорили о том, почему необходимо порвать с социалистическим прошлым, но сразу сбивались и путались, как только речь заходила о различии между ними и неолибералами. При чтении вслух соответствующих разделов документа возникает ощущение, будто у автора вдруг начинает заплетаться язык, он начинает что-то бессвязно бормотать и, как неподготовленный студент на экзамене, торопится перейти к другой, более удобной, теме.

Коль скоро разница между «правыми» и «левыми» свелась к исторически сложившимся названиям партий, повсеместные победы «левых» оставались совершенно загадочными. Однако за серией побед «нового центра» последовала череда столь же впечатляющих поражений. Если XX век закончился в Западной Европе электоральными триумфами социал-демократов, то начало следующего столетия обернулось во многих странах возвращением к власти консерваторов.

Под занавес столетия социал-демократия вышла на сцену как актер после спектакля: не играть, а раскланиваться.

«Третий путь» – в никуда

Не требуется глубоких теоретических познаний, чтобы догадаться, что идеология «нового центра» с самого начала была не более чем набором банальностей, пропитанным духом пошлости и самодовольства. Но именно поэтому ее феноменальный и скоротечный успех требует тщательного анализа. Бросается в глаза, что вопреки ими самими же придуманному мифу, лидеры «нового центра» меньше всего умели выигрывать выборы. Их избирательные кампании были скучны и вялы, лишены красивых лозунгов и привлекательных идей. Не социал-демократы выигрывали выборы, а консерваторы проигрывали. Предстоящее поражение правых партий в Германии и Британии стало очевидным политическим фактом задолго до того, как люди пошли к избирательным урнам, чтобы избрать Блэра и Шредера. В Италии кризис левых сил сопровождался еще более катастрофическим кризисом христианской демократии, которая просто перестала существовать как политическое течение. Во Франции возвращение к власти левой коалиции последовало за позорным поражением правого правительства в столкновении с бастующими работниками общественного сектора в декабре 1995 года.

В этих условиях лидеры партий могли не особенно заботиться о выборах. Напротив, они сосредоточили все свои силы на внутрипартийной интриге, идеологических чистках и политических расправах с инакомыслящими в рамках своего собственного лагеря. Задача «нового центра» состояла именно в том, чтобы окончательно разгромить, уничтожить социал-демократию в том виде, в каком она сложилась на протяжении XX столетия. И задачу эту нужно было решать срочно именно потому, что кризис неолиберализма открывал левым дорогу к власти.

Лозунгом «нового центра» была переориентация партий с рабочих на «средний класс». Для того чтобы стать привлекательной для среднего класса, партия должна была показать свою умеренность, неуклонно двигаясь вправо. Между тем средний класс, разочаровавшийся в консерваторах, смещался влево. Политики и избиратель оказались похожи на двух людей, которые бегут не навстречу друг другу, а в противоположных направлениях. «Встреча» среднего класса с представителями «нового центра» на этом пути была неизбежной, но обречена была оказаться случайной и недолгой. «Новый центр» стал не столько сдвигом вправо, сколько движением в никуда. Того среднего класса, на который ориентировались лидеры и идеологи, не существовало в природе. Реальный средний класс

хотел совсем не того, что готовы были предложить ему бывшие рабочие партии.

Социал-демократические политики ошиблись в главном. Средний класс начал покидать их в тот самый момент, когда разочарование, отчуждение и раздражение рабочих достигло апогея.

Двадцать лет неолиберальной модели оказались временем, в течение которого средний класс подвергался постоянному давлению и эрозии. Логика рынка – это логика поляризации. Правила игры требуют, чтобы были победители и побежденные. Побежденных должно быть большинство, иначе было бы невозможно накопление капитала. Чем более «чистым» является рынок, тем более жестко проявляется эта логика.

Крах итальянского левого центра был началом общеевропейской драмы, когда в одной стране за другой избиратели отказывали в доверии социал-демократам, превратившимся в неолибералов. В 2002 году президентские выборы во Франции завершились сокрушительным поражением социалистов. Лидер партии и премьер-министр Лионель Жоспен не смог даже пройти во второй тур, уступив второе место лидеру крайне правого Национального фронта Жану-Мари Ле Пену.

Французский поцелуй – прощание с социал-демократией?

Первоначально президентские выборы во Франции мало кого волновали. Различия между кандидатами были столь ничтожны, что победа одного из них могла иметь значение только для самого кандидата и для людей, которые рассчитывали на посты в администрации. Когда же Франция, наконец, проголосовала, вся европейская публика содрогнулась, обнаружив на втором месте не Жоспена, а лидера ультраправых Ле Пена.

Между тем массового сдвига голосов в пользу Ле Пена не было. Его идеи были не намного более популярны среди французов в 2002 году, чем четыре-пять лет назад. Успех Национального фронта был достигнут на фоне массового отказа французов голосовать за «основные» партии. Во Франции, как и в Германии и Британии, экономическая политика социал-демократов оказалась даже более правой, чем у консерваторов. Понятно, что разочарование общества в этой экономической модели в первую очередь обращивается против социалистов.

Раньше люди, разочаровавшиеся в правых, шли голосовать за левых, и наоборот. Но теперь, зная, что никакой разницы между правыми и левыми все равно нет, они просто остались дома.

Не только Жоспен, но и Ширак потерял сторонников. И хотя во втором туре Ширак победил с рекордным числом голосов, это не избавило его от унижения.

Самой сильной партией на французских выборах стали неголосующие – более 15 миллионов людей, или более трети избирателей, самая низкая явка с 1848 года.

Успех Ле Пена стал поводом для массовой мобилизации радикальных левых. На улицы французских городов вышли многотысячные антифашистские демонстрации. Больше всего на выборах продвинулись не националисты, а троцкисты. Два кандидата, представлявшие соперничающие группировки, набрали каждый в отдельности больше голосов, чем входившая в правительство коммунистическая партия.

Если успех Арлетт Лагийе был более или менее предсказуем – она участвовала в президентских выборах не первый год и постоянно улучшала результаты, то 4,5 %, полученных юным кандидатом Оливье Безансоно, оказались сенсационными.

Молодой человек, ничем не знаменитый, даже среди самих троцкистов, заведомо не мог быть серьезным кандидатом. Но он не только успешно зарегистрировался, но и на целый процент обошел

лидера компартии, опытного политика Робера Юбера.

Поражение компартии стало более важным результатом выборов, чем даже успех Национального фронта. Многие комментаторы поспешили объявить, что именно электорат коммунистов, ушедший к крайне правым, предопределил новое соотношение сил. Это, однако, не совсем точно. Ле Пен набрал больше всего голосов в старых индустриальных районах, где раньше побеждали коммунисты. Но произошло это именно потому, что подобные регионы все более де-индустриализируются.

Современная промышленность оказывается рассредоточена. За Ле Пена проголосовали безработные из некогда процветавших, но сегодня приходящих в упадок индустриальных центров. Некоторое количество рабочих, со дня на день ожидающих увольнения. И растерявшаяся, озлобившаяся мелкая буржуазия.

Если крайне правые не смогли массово привлечь рабочих на свою сторону, то коммунисты потеряли рабочих повсеместно. Ле Пен отнимал у компартии избирателей в депрессивных районах. Там, где производство успешно работает, трудящиеся голосовали за троцкистов, за социалистов или предпочитали вообще не голосовать.

Коммунисты сделали ставку на рабочих, затем предали их и проиграли. Социалисты отказались от рабочих, сделав ставку на средний класс. Но средний класс отвернулся от неолиберальной политики, оставил социалистов, и они тоже проиграли. Ле Пен сделал ставку на недовольство, вызванное неолиберальной политикой, но в качестве виновников назвал не авторов этой политики, а ее жертв – иммигрантов, национальные меньшинства. И он тоже не мог выиграть. По крайней мере – до тех пор, пока правящий класс, при всей своей жестокости и самонадеянности, все еще сознает, что игра в фашизм слишком рискованна.

Неудача французских социалистов свидетельствовала не об ослаблении левого фланга в обществе, а об обострении социальных конфликтов. Социалисты были раздавлены именно потому, что превратились в партию центра. Сразу же после того, как закончились избирательные баталии во Франции, по Европе прокатилась новая волна выступлений протеста. Их массовость превзошла все ожидания. Упадок социал-демократии и постепенный уход со сцены последней из «старых» компартий стали сигналом для перегруппировки политических сил, формирования новых политических блоков, нового левого движения.

Выборы 2002 года во Франции можно считать своего рода референдумом, на котором общество сказало «нет» действующей экономической и партийно-политической системе. В 1995 году успешной всеобщей забастовкой, а затем массовым голосованием за левых Франция уже показала, что не согласна с политикой приватизации и с демонтажем социального государства. Увы, пришедшие к власти левые оказались правее самых правых. И понесли за это заслуженное наказание.

Немецкий путь

Неудивительно, что после краха «левого центра» в Италии, поражения социал-демократов во Франции и Голландии за выборами 2002 года в Германии внимательно следила вся Европа. Немецкие выборы должны были подтвердить или опровергнуть наметившуюся тенденцию. Все ждали: постигнет ли партию Шредера та же судьба, что и ее коллег в соседних странах или, благодаря популярности канцлера, правительство устоит.

Незадолго до немцев избрали свой парламент шведы. Там победа досталась левым. Социал-демократы и сотрудничавшая с ними Левая партия получили 48,4 % голосов, а «зеленые» набрали

еще 4,6 %, что гарантировало прочное большинство «левого центра». Но Скандинавия – особый мир, где социал-демократия не только остается частью национальной культуры и образа жизни, но и сохраняет остатки собственной идентичности. Разумеется, шведские социал-демократы тоже были не чужды идей «третьего пути», но отказаться от собственной политической традиции для них было бы просто невозможно. Победе блэровского «Третьего пути» в Британии предшествовал многолетний систематический разгром рабочего движения и левой интеллигенции. В Скандинавии профсоюзы и левые на протяжении 1990-х годов тоже отступали, но разгрома здесь не было. Трудящиеся не были унижены, интеллектуалы не были напуганы и коррумпированы. А потому не было и достаточных культурно-психологических условий для «третьего пути».

Другое дело – Германия. Она представляла собой как бы промежуточный вариант. Профсоюзы сохраняли силу и уверенность в себе, социальное государство не было демонтировано полностью, несмотря на все усилия правых. Но руководство социал-демократов на протяжении четырех лет пребывания у власти доказало, что готово твердо следовать неолиберальному курсу.

Опасения (и надежды) относительно краха немецких социал-демократов не оправдались. В сентябре 2002 года немецкая «красно-зеленая» коалиция устояла. Но результаты, с которыми партия Шредера вышла из выборов, выглядели, мягко говоря, не слишком впечатляющими. Социал-демократия закончила выборы «нос к носу» со своим главным консервативным оппонентом – христианскими демократами (ХДС). Когда начался подсчет голосов, христианские демократы даже вырвались вперед, но при окончательном подведении итогов выяснилось, что правящая и оппозиционная партии «сыграли вничью». Для ХДС это результат разочаровывающий, но все же они резко продвинулись вперед. Социал-демократы, напротив, потеряли голоса.

Коалиция выжила потому, что неожиданно много голосов набрали «зеленые» – младший партнер в правительстве. Напротив, свободные демократы (партнер ХДС) хоть и «прибавили в весе», но уступили «зеленым». Фактически выборы распались на две «дуэли». Социал-демократия свой поединок с консерваторами как минимум не выиграла. А вот «зеленые» обыграли свободных демократов и тем самым спасли коалицию.

Еще один результат выборов 2002 года – поражение Партии демократического социализма. Прежде ПДС на всех выборах только набирала голоса. Эту партию обливали грязью, о ней отказывались писать в прессе, ее пытались изолировать – а число ее сторонников росло. Причем не только на Востоке Германии, где ПДС возникла на развалинах номенклатурной компартии, но и на Западе. Однако понемногу ситуация изменилась. ПДС стала восприниматься как «нормальная партия». Ее представители вошли в земельное правительство Мекленбурга-Померании, а потом и в коалицию, управляющую объединенным Берлином.

В свою очередь руководство ПДС сосредоточилось на мысли о предстоящем участии в коалиции на федеральном уровне. Накануне выборов партийный бюллетень ПДС обсуждал перспективы правительственного соглашения с социал-демократией. Лидеров волновало одно: партия должна стать пригодной к участию в правительстве. Иными словами, как можно более благопристойной, умеренной. В итоге ПДС с каждым днем делалась все менее отличимой от социал-демократов, все более скучной, беззубой и боязливой. Но зачем нужна вторая социал-демократическая партия, если одна уже есть? К тому же гораздо сильнее и влиятельнее? Став «респектабельной», ПДС сделалась неинтересна и политически бессмысленна. Она взяла на себя ответственность за непопулярные меры

коалиционных правительств в Берлине и Мекленбурге. Она стала вызывать раздражение у собственных сторонников и активистов. Коалиционное соглашение ПДС и социал-демократов в Берлине пункт за пунктом аннулировало предвыборные обязательства ПДС. Особенно всех обидел отказ ПДС от требования прекратить строительство нового аэропорта в Шенефельде. Ведь именно благодаря этому лозунгу партия получила голоса в окрестных поселках. И вот наступило наказание. Избиратель дезертировал, причем на Востоке даже больше, чем на Западе. Партия не прошла в Бундестаг (оказавшись представлена там всего двумя депутатами-одномандатниками). В общем, проиграли все. Социал-демократы были унижены, свободные демократы подавлены, христианские демократы разочарованы, демократические социалисты разгромлены. Единственными победителями оказались «зеленые». Они, разумеется, торжествовали. Увы, эта радость не имела ничего общего с удовлетворением людей, получивших поддержку своей политической линии. Ибо таковой у немецких «зеленых» давно уже не было. Избиратель голосовал не за политику «зеленых», он просто выбрал их в качестве наименьшего зла. Прошли времена, когда под знаменем «зеленых» собирались сторонники радикальных экологических движений. В правительстве Шредера «зеленые» представляли собой просто сборище карьеристов с более или менее левым прошлым. Впрочем, нечто подобное можно было сказать и об их социал-демократических коллегах, вошедших в политику в бурное время поздних 60-х и ранних 70-х под лозунгами антибуржуазной революции и сопротивления вьетнамской войне. К тому времени, когда бывшие радикалы, пройдя «долгий путь через институты», достигли министерских кресел, вся их стратегия и тактика свелась к получению постов в министерствах и парламентских комиссиях.

И все же именно потому, что «зеленые» сами не знали, за что выступают, эта партия стала «последним вариантом» для разочарованного избирателя. Все остальные вызвали негативную реакцию, а «зеленые» не вызывали вообще никаких чувств. В худшем случае – просто презрение. Те, кто не хотел прихода к власти правых, но испытывали отвращение к Шредеру, проголосовали за карьериста Фишера. И тем самым действительно добились своего. Правые к власти не пришли, а Шредеру и компании головная боль на четыре года была обеспечена.

Итак, победителей не было. Однако не надо забывать еще одно обстоятельство. В последние недели перед выборами Шредер резко повернул влево. Вспомнив свое марксистско-пацифистское прошлое, он начал произносить громогласные антиамериканские речи, требуя от Буша, чтобы тот отказался от уже обещанного нападения на Багдад. Как только в Шредере проснулся радикал образца 1968 года, рейтинг его стремительно пошел вверх. Именно в этот момент стало ясно, что Шредер может удержаться у власти, а корабль ПДС пошел ко дну. Сделав левый вираж, социал-демократы просто «протаранили» своих левых партнеров, ожидавших, что хоть на антивоенной теме они смогут выделиться.

Теория, согласно которой только умеренность позволяет выигрывать выборы, была в очередной раз посрамлена. Однако социал-демократия «нового образца» оказывается принципиально неспособной на конфликт с финансовыми и корпоративными элитами. А потому не может она и осуществить какие-либо прогрессивные реформы. Твердо заявляя об оппозиции войне, правительство Шредера в экономике продолжало проводить консервативный курс.

В 2002 году в Германии социал-демократия получила отсрочку. Вопрос – надолго ли?

Конец терпимости?

Крах неолиберальной модели становится историческим фактом. Разъяренный средний класс, лишившийся своих сбережений, будет требовать перемен. Он может выступить под левыми лозунгами, но никто не гарантирует, что обиженный обыватель не станет массовой базой фашизма – так уже однажды было.

Стремительный рост правого популизма оказывается естественным спутником капиталистического кризиса – как будто мы вновь возвращаемся в 1920—1930-е годы. Такое повторение неслучайно.

Фашизм был порожден не только идеологическими фантазиями Муссолини и Гитлера, но, в первую очередь, экономическими, социальными и психологическими условиями, существовавшими в Европе (а не только в Италии и Германии) после Первой мировой войны. Разрушив социальное государство, неолиберализм в значительной степени воспроизвел аналогичные условия.

Кризис начала XXI века многие экономисты уже окрестили «вторым изданием» Великой депрессии. Неудивительно, что на сцену снова выходят крайне правые партии. Другое дело, что прошлое никогда не повторяется. Точно так же, как неолиберализм не является простым возвращением к капитализму «свободного рынка», существовавшему до Второй мировой войны, так и новый фашизм и правый популизм существенно отличаются от своих прототипов первой половины XX века.

Европейское общество изменилось. Вместе с ним меняется и фашизм. Появляется новый объект ненависти. Место еврея занимают иммигрант, мусульманин, «черный». «Большевистский заговор» заменяется «мировым терроризмом». Масоны превращаются в исламистов. Впервые, наверное, за сто лет религия вновь оказалась темой политической дискуссии в Западной Европе. Причем на сей раз это не старый спор католиков и протестантов, а вопрос об исламе.

К концу XX века ислам стал одной из основных религий в Европе. На самом деле, разумеется, мусульмане жили в Европе со Средних веков, арабская Испания была одним из культурных центров исламского мира, на Балканах турецкая империя сумела исламизировать часть местного населения, а в университетах Британии с XIX века училась мусульманская знать из колониальных и полуколониальных стран. Но все это не мешало Европе воспринимать себя «христианской цивилизацией». Не мешало этому даже присутствие миллионов евреев, которых просто старались не замечать.

Европейские демократии сложились именно в борьбе с христианской церковью, неизменно принимавшей сторону авторитарной власти, безуспешно пытавшейся сдержать восстание масс. В результате европейская политическая культура сформировала как бы два лица. С одной стороны, консервативная традиция, опирающаяся на «христианские ценности», с другой – республиканская идеология, провозглашающая принцип светского государства и свободы совести. Кстати, антиклерикальный характер лозунга «свободы совести» во Франции и даже в Англии ни для кого не секрет. Если в Соединенных Штатах «свобода совести» возникла как результат компромисса между многочисленными религиозными общинами и сектами, каждая из которых просто не была достаточно сильна, чтобы навязать другим свое господство, то в континентальной Европе речь шла о защите совести гражданина от посягательств официальной религии.

Массовый наплыв иммигрантов, начавшийся с Германии, Франции, Голландии и Британии в 1960-е годы, радикально изменил демографическую картину. Хотя иммиграция началась с бывших колониальных метрополий, к концу XX века она стала фактом практически во всех странах. К середине 1990-х Италия, Испания и Португалия, которые раньше сами отправляли своих людей за

границу – в Америку и Северную Европу, стали принимать иммигрантов. Швеция и Финляндия приняли весьма либеральное законодательство о политических беженцах. В результате тамошние «новые граждане» существенно отличаются от своих собратьев во Франции или Германии: люди, бегущие от политических преследований, как правило, более образованные и квалифицированные, испытывают гораздо больше симпатии к принявшей их стране, чем те, кто просто приехал на заработки.

Значительная часть «новых европейцев» прибыла из мусульманского мира. Что, в принципе, невероятно обогатило «старый континент». На Востоке культурная и религиозная однородность была редкостью. Большинство обществ там с древних времен представляли собой конгломерат этнических и религиозных общин. И дело здесь не в особенностях исламской культуры, выработавшей собственные представления о веротерпимости, а в слабости государства, которое просто не в силах было полностью ассимилировать или истребить всех, кто не вписывался в господствующие нормы.

Миграция

Массовое переселение людей в Европу из Азии и Африки – объективная реальность XXI века.

Причина ее не сводится к тому, что люди бегут от нищеты в более богатые общества. Сама Европа не может уже существовать без иммигрантов. Причины отнюдь не только демографические.

Сложившаяся в 1980—1990-е годы экономическая модель предполагает нечто вроде социального апартеида. Рабочие места разделены на «хорошие» и «плохие». Между ними – пропасть.

Вертикальная мобильность – то есть возможность подняться к вершинам карьеры – открыта только для тех, кто с самого начала стартовал с «хорошего» места. Примерно треть общества заведомо обречена на положение аутсайдеров. Если население этнически и культурно однородно, это грозит серьезной бедой. Как уже говорилось выше, в условиях неолиберальной глобализации «этническое разделение труда» оказывается социальной необходимостью. «Плохие» рабочие места перестают быть национальным позором и даже социальной проблемой. Солидарность между работниками, занятыми на «хороших» и «плохих» местах, сводится к минимуму. Люди более благополучные могут испытывать сочувствие к бедным иммигрантам, но не отождествляют себя с ними. Социальные аутсайдеры оказываются еще и этническими инородцами и религиозным меньшинством. Так их легче контролировать. В случае неповиновения можно даже выслать и заменить другими. Можно натравить на них ревнителей «чистоты расы» и «поборников христианских ценностей». С другой стороны, проблема из социальной превращается в культурно-религиозную. Сердобольные либералы, предлагают решать культурную проблему там, где разворачивается социальная катастрофа. Они твердо убеждены, что несчастья иммигрантов происходят от недостаточного уважения общества к их «идентичности». Принимаются всевозможные законы, защищающие «коллективные права меньшинств». Поскольку социальная ситуация от этого не меняется нисколько, большинству «новых иммигрантов» лучше не становится. Люди, выросшие в безвыходной нищете посреди богатой Европы, испытывают раздражение и разочарование.

Новое поколение раздражено даже больше. Они воспитаны в Европе, они вполне могут стать «нормальными» немцами, англичанами и французами, не отрекаясь, разумеется, от своих корней (точно так же, как это случилось с евреями или русскими иммигрантами в XX веке). Но им не удастся! У них просто нет на это денег и никогда не будет. Либеральная толерантность

оборачивается закреплением апартеида: вместо социальной интеграции людям предлагается развивать свои культурные особенности. Чем больше они это делают, тем более противопоставляют себя «коренному населению». В то же время среди «коренного населения» растет недовольство: мы о них заботимся, все им позволяем, а с их стороны никакой благодарности! Чем неустойчивее социальное положение «белого человека», тем сильнее подобные настроения. Кажущийся парадокс – больше всего иммигрантов начинают ненавидеть те, кто ближе всего к ним по социальному положению. Это та часть «настоящих европейцев», которой не досталось «хорошего» места. Или их место оказалось под угрозой. Хуже того, даже за «плохие» места приходится конкурировать с представителями меньшинств, которые, как правило, выигрывают. Ведь они привыкли к таким условиям труда и такой заработной плате. Они готовы терпеть.

Легко догадаться, что среди «новых меньшинств», в свою очередь, возникает великолепная почва для распространения фундаменталистской пропаганды. Либеральная толерантность способствует тому, чтобы каждая община противопоставляла себя всем остальным. А социальное положение вызывает недовольство, делает людей все более агрессивными.

Английский писатель Тарик Али назвал происходящее «столкновением фундаментализмов». Среди «белых христиан» распространяются неонацистские идеи. Среди «нехристей» религиозный фундаментализм. И то и другое идеологически очень похоже. В сущности речь идет о двух версиях крайне правой идеологии, отличающихся только «культурным» оформлением. Идеи крайне правых представляют собой фундаментализм белых европейцев. Фундаментализм есть не что иное, как правый популизм в исламизированном варианте.

Обе идеологии построены на расовой ненависти, обе отрицают классовую солидарность. И главное, в обоих случаях понимание реальных общественных противоречий заменяется ложной проблемой. Эту ложную проблему решить невозможно. Европа не может избавиться от иммигрантов. Призывы «приучить этих варваров к нашему образу жизни» повисают в воздухе: иммигранты и рады были бы жить как все, но для этого им надо занять такое же положение в обществе, как и представителям благополучного «белого» среднего класса. А с другой стороны, никто не сможет (да и не собирается всерьез) превратить Западную Европу в новый халифат.

Неолиберализм наступал, обещая разнообразие и богатство жизненных возможностей для тех, кто готов играть по правилам рынка. Увы, главное правило рынка в том, что большинство игроков проигрывает. В этом сущность «игры». Имущественное неравенство обостряется, а вместе с ним уходит в прошлое и равенство возможностей.

Кризис неолиберальной модели обострился к началу 2000-х годов, когда были исчерпаны возможности роста, связанные с новыми технологиями. Информационная революция уже в прошлом, а будни «информационного общества» оказываются столь же суровыми, как и будни индустриального капитализма.

Социальный и экономический кризис отражается на политике. Великая депрессия породила фашизм. В новый век мы входим с новым вариантом крайне правой идеологии. И отождествлять ее с фашизмом можно только в одном: ненависть к «чужому» по-прежнему остается объединяющим началом. Если для нацизма XX века таким «чужим» был еврей (единственный «чужой», массово представленный в тогдашнем европейском обществе), то теперь ту же роль играет мусульманин. Бегство от свободы

Растерянность и страх, охватывающие часть общества в условиях рыночного кризиса, оказываются питательной средой для правого радикализма. Эрих Фромм в классической книге «Бегство от свободы» описал психологическое состояние мелкой буржуазии 1930-х годов, не способной совладать со стихийными рыночными силами, потерявшей контроль над своей жизнью и смертельно боящейся будущего. Растерявшийся и озлобленный мелкий буржуа ищет спасения в «сильном государстве», которое должно «навести порядок» и обеспечить ему «защиту». Он не способен понять действительные причины кризиса, но требует простых и быстрых решений. Он не доволен тем, как работает капитализм, но не может вообразить, что может существовать общество, организованное по иным правилам. А потому он возлагает надежды не на реформы и социальные преобразования, а на сильного лидера и ищет конкретных «виновников», которых можно наказать. Короче, такой человек вполне созрел для того, чтобы пополнить ряды фашистской организации.

Национальный Фронт Ле Пена во Франции и Список Пима Фортейна смогли добиться успеха на волне страха. Не только страха перед преступностью, якобы имеющей «этнические» корни, но и элементарного страха перед будущим в условиях неопределенной рыночной конъюнктуры.

Показательно, что в каждой стране и в каждой партии есть свои особенности. Убийство Фортейна превратило его в политического святого европейской крайне правой. Но этот святой, в отличие от громилы Хорста Весселя, погибшего в борьбе за идеалы гитлеровского нацизма, был еще и интеллектуалом. В толерантной Голландии Пим Фортейн подчеркивал, что его организация не является крайне правой, что ее нельзя отождествлять с движением Ле Пена.

Стразу после гибели Пима Фортейна голландская журналистка Имоген Вермюелен вынуждена была объяснять причины популярности убитого. Он был не похож на большинство политиков, выступающих с трибуны голландского парламента в Гааге. До того как стать борцом против мусульманской иммиграции, он безуспешно пытался сделать карьеру, читая лекции по марксистской социологии. «Откуда произошла его популярность? Фортейн говорил то, что многие люди думали, но не решались сказать. Он был настоящим популистом. Он отказался от привычной «гаагской» культуры: открыто признавался в гомосексуализме, не скрывал своих амбиций относительно поста премьер-министра, не изображал скромности. «Я хочу убрать грязь», – говорил он. И люди, уставшие от лицемерных политиков, рады были это слышать. Звезда Фортейна возшла не потому, что люди верили ему, а потому, что они совершенно не доверяли всем остальным политикам». Гомосексуализм Фортейна стал своего рода знаком. Он, Фортейн, в отличие от французских националистов отстаивает не традиционные семейные ценности, а принципы терпимости, равноправия женщин и светское государство, которым угрожает ислам. Круг замкнулся. Логика мультикультурализма вывернулась наизнанку. Либеральная терпимость обернулась идеологическим обоснованием погромов.

Антиисламизм становится такой же объединяющей особенностью крайне правой идеологии в XXI веке, как антисемитизм в прошедшем столетии. Но неприятие антиисламизма вовсе не означает, что мы испытываем сентиментальную симпатию к фундаменталистам исламского толка. В XX веке большинство еврейских общин в Европе были светскими и либеральными, они существовали в гораздо более благоприятных социальных условиях, чем мусульманские общины в современном «христианском» мире. Потому среди европейских евреев почти не успела развиться фундаменталистская реакция (по принципу «противопоставим немецкому фашизму наш

собственный, еврейский»). «Почти», потому что в Израиле на протяжении второй половины XX века крайне правая идеология все же пустила корни, отравив массовое сознание и проникнув в государственные институты. Сегодня мы видим все то же «столкновение фундаментализмов» на Ближнем Востоке. Израильская оккупация не оставляет палестинцам ни надежды, ни выбора. А фундаменталисты из «Хамас» и другие исламские правые превращают страх и отчаяние в топливо войны, которую они уже много лет ведут не только против оккупантов, но и против левых в самой арабской Палестине. Ситуация становится безвыходной. Люди, ставшие заложниками собственной ненависти, не способны найти решение реальных проблем.

Ответом на наступление крайне правых и пропаганду фундаменталистов может стать только культура солидарности. Именно солидарность была историческим ответом рабочего движения на попытки собственников столкнуть между собой людей на рынке труда. Класс объединился во имя общих интересов и преодолел страх. Там, где появляется классовое сознание, социальные противоречия становятся ясны и понятны. Исчезает потребность искать виновного, раскрывать заговоры. Зато появляется желание изменить систему.

Новая солидарность

Крушение «нового центра» происходило на фоне новой волны массовых выступлений.

Полумиллионная демонстрация в Барселоне, за которой последовала всеобщая стачка в Испании, успешные забастовки в Германии и Англии стали наглядными доказательствами того, что классовая борьба вновь становится фактом повседневной жизни.

Рекорд массовости был достигнут в Италии, где число демонстрантов на улицах Рима превысило по некоторым подсчетам два миллиона. Причем эта беспрецедентно массовая демонстрация была лишь прелюдией к всеобщей стачке.

В Сиэтле 1999 года профсоюзные активисты и защитники окружающей среды вместе выступили против Всемирной торговой организации. Однако это было прежде всего символическое единство. В Италии 2002 года демонстрации антиглобалистов слились с забастовками рабочих. Во время Европейского социального форума во Флоренции в 2002 году профсоюзная и молодежная демонстрации объединились.

Время отступления закончилось. Перед левыми открываются новые перспективы. Ответом неолиберализму, разобщающему людей, противопоставляющему рабочих среднему классу, людей «Севера» жителям «Юга», расизму и фундаментализму, стала новая солидарность, культура диалога и совместного действия.

Именно солидарность— гражданская, демократическая, классовая – позволила создать демократические государства, разрушив сословные перегородки, подорвав аристократические и буржуазные привилегии. Именно повседневный опыт солидарности лег в основу социалистической традиции, которая объединяла левых на всем протяжении XX века.

Культура и даже формы религиозности будут меняться вместе с социальной реальностью. Вопрос в том, чтобы изменить общество, сделать его более справедливым, а людей действительно равноправными. Мы находимся лишь в самом начале пути. В современном обществе, состоящем из разных культур, этнических групп, рас и конфессий, культуру солидарности нужно формировать заново. Но это не значит, что она менее необходима. Как бы ни сложна была задача, другого пути нет.

Классовая борьба или «столкновение фундаментализмов». Вот единственно реальная альтернатива XXI века.

Часть 7 Русский вариант

Дефолт

Английское слово «дефолт», в смысле отказа от платежей, прочно вошло в русский язык еще в 1998 году. Но дефолт потерпело не только правительство. В одночасье рухнула идеология, рухнула картина мира, сложившаяся у представителей среднего класса.

Нормой неолиберальной модели является постоянное перераспределение средств от реальной экономики в пользу финансовой олигархии и спекулятивного капитала. Рано или поздно такая система должна рухнуть. Но когда она рушится, обнаруживается, что сбережения, заработки и рабочие места нового среднего класса падают вместе с ней.

Во всем мире происходило примерно одно и то же, но мало где соотношение финансового капитала с реальной экономикой было столь диспропорциональным, как в России. Рост банковских структур и финансовых империй происходил на фоне и за счет развала промышленности. Разворовывание предприятий заложило основу финансового благополучия олигархов. Новый средний класс появился на свет для того, чтобы обслуживать экономику, созданную олигархами в соответствии со своими потребностями и представлениями. Неудивительно, что рано или поздно все это должно было рухнуть. И пострадать должен был именно новый средний класс, благополучие которого оказалось жестко привязано к заведомо нежизнеспособной системе.

Рубль рухнул. Закрылись банки. Пропали сбережения. Потеряли свои места преуспевающие менеджеры. Остались без клиентов рестораны и бутики. Бывшие руководители компаний ездили по улицам на дорогих машинах, предлагая свои услуги в качестве незарегистрированных таксистов. Кризис 1998 года ударил не по самым бедным. Большинство населения уже и без всякого дефолта жило в нищенских условиях, порой месяцами не получая зарплаты. Они не могли потерять сбережения в рухнувших банках, ибо никаких сбережений у них не было.

То, что стало катастрофой для среднего класса в августе 1998 года, было повседневной реальностью для большинства населения страны на протяжении десятилетия.

Миф о рынке, вознаграждающем лучших и наказывающем худших, является ключевым мифом неолиберализма. Победители уверены в своей правоте и убеждены, что заслужили успех. Они твердо считают себя лучшими. Традиционные религии оставляли право отбора лучших за Богом.

Неолиберализм экспроприировал Бога, передав его функции рынку. Если протестантизм XVI века учил, что через рыночный успех Бог награждает избранных, то для неолиберализма конца XX века рынок сам стал богом.

Увы, вера в этого бога сохраняется ровно столько времени, сколько продолжается рост биржевых котировок.

Когда рынок рушится, под его развалинами оказываются именно те, кого только что объявили «передовыми» и «лучшими». Именно те, кто больше всего зарабатывал, больше всего теряют.

Возникает резонный вопрос: если система признала нас лучшими, за что она нас наказывает?

В 1998 году крах рубля знаменовал начало разрыва между средним классом и либерализмом. Причем не только в России, но и в мире. Катастрофа рубля была спровоцирована экономическими неприятностями в Восточной Азии. Предпосылки финансового краха вызревали в самом российском

обществе, но именно азиатские проблемы послужили толчком для того, чтобы пришел в движение финансовый рынок, выявив всю свою иррациональность и нестабильность. В свою очередь Россия оказала прямое воздействие на Латинскую Америку. В считанные недели одна за другой стали рушиться валюты. Лучшие ученики Международного валютного фонда вынуждены были признать свою несостоятельность. Одна и та же политика проводилась в России, Бразилии и Эквадоре. Неудивительно, что результаты оказались схожими.

К счастью, российская власть тогда, вопреки обыкновению, проявила здравый смысл. Выход из кризиса нашел не очередной ученик МВФ, а кабинет левых прагматиков. Олигархам в тот момент было плевать на идеологию. Нужно было срочно сделать что-то, чтобы остановить распад финансовой системы и запустить промышленность. Элиты были деморализованы. Перепуганный президент Ельцин призвал к власти левоцентристское правительство Евгения Примакова и Юрия Маслюкова, которое сумело резко изменить курс. Правительство Примакова девальвировало рубль, фактически приостановило приватизацию и поддержало производство. Начался экономический рост. Девальвация рубля оказалась толчком к началу промышленного подъема, резкое увеличение государственных расходов начало стимулировать производство. После того как приватизация была приостановлена, сократились и масштабы коррупции, прекратилась борьба за передел собственности между олигархическими группировками. Возникло некое подобие стабильности. Беднейшие слои населения наконец увидели в своих руках денежные знаки.

Итогом всех этих экономических успехов был политический крах Примакова. Пришедшие в себя олигархи перегруппировались, удалили его от власти. Левоцентристский эксперимент был прерван, как только ситуация стабилизировалась. Примаков и Маслюков были отправлены в отставку в мае 1999 года. Природа власти в России не изменилась, олигархия удержала свои позиции и при первой же возможности избавилась от своих спасителей. Наспех «изготовив» себе нового президента, Владимира Путина, она радостно принялась пожинать плоды экономического роста и политической стабильности.

Столичные города России представляли собой оазис буржуазного благополучия. Русское общество, претерпев за 1990-е годы множество неудач и унижений, никак не могло выйти из состояния паралича.

Ничего у них нет...

Как известно, булгаковский Воланд, услышав от своих собеседников, что дьявола не существует, иронически заметил: «У вас, чего нихватишься, ничего нет!» Обсуждение российского капитализма в среде нашей либеральной интеллигенции подчинено примерно той же логике. Если почитать публицистов и блогеров, послушать социологов и экономических комментаторов, то придется прийти к выводу «о полном отсутствии всяческого присутствия». Ни буржуазии настоящей у нас нет, ни среднего класса, ни либералов, достойных этого красивого имени. Даже рынка «настоящего» нет – и уж капитализма тем более.

Кстати, подобные мнения можно услышать и от некоторых патриотов, и даже от левых. Через два десятилетия после разрушения СССР многие все еще сомневаются, построен ли в России капитализм. Вместо того чтобы анализировать реально работающие структуры и возникающие на их основе классовые противоречия, пишущая и болтающая публика предпочитает ругать плохих людей, жаловаться на коррупцию, искать злоумышленников или попросту сетовать на отечественные

традиции.

В этом потоке жалостливого отрицания ключевое слово – «настоящие». Это прилагательное автоматически корректирует и оценивает любое явление реальности, подгоняя его под некоторый стереотип и тут же отвергая его как этому стереотипу не соответствующее. То есть вроде как все у нас имеется. Все атрибуты капитализма налицо. И частные компании есть, и собственники, и биржа. А уж интеллектуалов и политиков, произносящих речи о либеральных ценностях, – пруд пруди. Но все не настоящее, не соответствующее стандарту. Вопрос о природе явления самого по себе при таком подходе благополучно снимается. Нам совершенно не важно, что это такое на самом деле, нам очень важно объяснить и показать, чем это явление, по нашему мнению, не является. Такая вот негативная логика.

Нетрудно догадаться, что столь пессимистическая оценка реальности оказывается оборотной стороной либерального идеализма, заразившего большую часть общества в начале 90-х. С тех пор многое изменилось, говорить о всеобщем восторге перед либеральными ценностями больше не приходится, но стиль мышления остался.

Этот способ мышления предельно прост и не требует даже минимальных умственных или аналитических способностей. В качестве эталона «нормы» берется Запад, а все то, что у нас не похоже на Запад, то «ненормально». Никто не вспоминает о том, как пришли европейские страны к своему сегодняшнему благосостоянию, что за этапы проходили, какой борьбой это сопровождалось. Прояви наша публика больше любознательности, она легко обнаружила бы множество черт сходства, наглядно доказывающих, что и капитализм, и буржуазия у нас самые настоящие и в чем-то даже более нормальные и правильные, чем в Европе, ибо их не сдерживает ни гражданское общество, ни сильное рабочее движение, ни реальные демократические права масс, ни жесткие требования закона, от которых невозможно спрятаться. Все эти «завоевания Запада» были продуктом ожесточенной борьбы общества против капитала, а потому нет ни малейшего основания надеяться, будто общество, где интересы капитала никем не оспариваются и ничем не ограничиваются, сможет породить в себе что-либо подобное. Неудивительно, что отечественные либералы, сколько бы они ни восхищались достижениями «европейской демократии», в плане текущей российской политики демократами ничуть не являются. Они вовсе не стремятся дать народу права и возможности, которые он сможет использовать для борьбы против капитала и ограничения свободы бизнеса. Напротив, они убеждены, что эту свободу предпринимательства – свободу от общественного контроля и социальной ответственности надо защищать любой ценой, независимо от того, согласно с этим население страны или нет. После того, как свобода для бизнеса будет завоевана – ценой окончательной ликвидации свободы для трудящихся, – демократия чудесным образом наступит сама собой (хотя никто пока не объяснил как).

Поскольку подобная перспектива вызывает среди сограждан открытый ужас вместо бурного восторга, либеральные мыслители от сетований на негодное государство переходят к жалобам на «неправильное население», которое «сопротивляется модернизации» и само не понимает собственного счастья. В рай предстоит снова загонять дубинкой, но никак не удастся подобрать дубину достаточного размера и веса, чтобы безотказно подействовало.

Следует, впрочем, помнить, что Запад, с которым принято сравнивать российскую реальность, существует исключительно в книгах идеологов и в воображении их читателей. Это не

противоречивое общество, где демократия является полем битвы различных, часто несовместимых интересов, не сложная, постоянно меняющаяся социально-экономическая система со своими достоинствами и недостатками, а неподвижный идеал, образ вечного совершенства.

Неудивительно, что сопоставление «реальной России» с «идеальным Западом» оказывается не в пользу нашего общества. Как может реальность – любая реальность – выдержать сравнение с идеалом? Не только российская, но и европейская практика мгновенно рушится перед такой теорией, а потому отечественные публицисты, сталкиваясь в Европе или в Америке с фактами повседневной и политической жизни, не вписывающимися в их схемы, реагируют на них с изумлением и раздражением.

Кризис, охватывающий сегодня Европейский Союз и Соединенные Штаты, с точки зрения либеральной теории в принципе невозможен. Но вывод, который делает идеолог, состоит не в том, что его теория неверна, поскольку очевидным образом на каждом шагу противоречит действительности, а в том, что неверна сама действительность, в ней что-то кем-то сломано или испорчено. Надо только найти виноватого, и все встанет на свои места.

В последнее время у нас появился новый тип антизападной литературы, сочиненной отнюдь не националистами или защитниками православной святости, а самыми отъявленными либералами и западниками, только разочаровавшимися в своем реальном западном обществе. Именно несоответствие их реальности нашему идеальному представлению о ней ставится им в вину. Хотя, согласитесь, это не совсем логично: сначала приписывать человеку или обществу некие черты, которых у них нет и заведомо быть не может, а потом осуждать за то, что на самом деле этих черт у них нет...

Что бы ни произошло, какие бы факты ни обнаружились, каков бы ни был наш жизненный и социальный опыт, идеал безупречного капитализма, беспроблемного общества, направляемого никогда не ошибающейся невидимой рукой рынка, остается в силе. Но теперь уже реальная Европа и Америка осуждаются как ему не соответствующие. Откуда происходит это несоответствие, никто не интересуется. Дело не в том, что трудно анализировать социально-экономические процессы, разбираться в статистике, критиковать господствующую идеологию. Просто подобные умственные операции изначально не считаются необходимыми. Корень зла видят в слишком большом числе инородцев, арабов и «черных», заполонивших улицы европейских столиц. В этом месте отечественный либерализм благополучно смыкается с фашизмом и расизмом. Если капитализм безупречен, но все равно не работает, значит, виноваты «черные». Что может быть проще и убедительнее такого объяснения.

Антидемократизм российского либерализма вполне органично открывает возможность «диалога» с крайне правыми, тем более что и фашизм сегодня не тот, что во времена Третьего рейха. Это относится, кстати, и к западным странам. Партии крайних националистов, набирающие вес в Бельгии, Голландии, Франции и теперь даже Финляндии, не предлагают обществу сколько-нибудь серьезных социальных реформ, они лишь призывают очистить рыночную экономику от иностранной рабочей силы. Что вполне может быть осуществлено на практике, никак не влияя на структурные проблемы капитализма.

Сегодня российский либерал с тайной надеждой смотрит на французский Национальный фронт, молчаливо восхищается Сандрой Муссолини и завидует партии «Истинных финнов». Западные

фашисты для него пока еще симпатичнее отечественных, ибо они все-таки цивилизованные европейцы – со всеми вытекающими отсюда замечательными последствиями.

Однако надежды на то, что с помощью твердой руки ультраправых «нормы» капитализма будут восстановлены и порядок наведен, заведомо обречены на такой же крах, как и вера в безупречную европейскую либеральную демократию. И не потому, что рука националистов окажется недостаточно твердой, а потому что никакой твердой рукой не удастся навести порядок, если не будет что-то сделано с источником проблем. А этим источником является сам экономический либерализм.

«Гражданское общество наоборот»

Западная теория гражданского общества предполагает, что у людей есть некий частный интерес, но поскольку этот частный интерес является типичным, одинаковым для большого количества людей, то они объединяются, и тогда сумма этих частных интересов превращается в общественный интерес. То есть они коллективно начинают свои интересы защищать и осознают свои частные интересы в качестве общественных. И к тому моменту начинается демократия в современном понимании. Поэтому у вас будут профсоюзы и объединения работодателей, филателистов и собаководов, экологов, которые борются против собаководов, и так далее.

Картина западного гражданского общества опирается на такого сознательного, добросовестного бюргера, который очень хорошо понимает, чего он хочет, что имеет и что защищает, который при этом уважает другого бюргера, у которого несколько иные потребности и проблемы. Путем демократического торга они приходят к соглашению, а сам бюргер возвышается над собой и становится чем-то большим, чем просто обыватель, начинает осознавать понятие гражданского интереса и где-то даже может поступиться собственным интересом ради более высокого уровня гражданской ответственности.

Был момент в середине 2000-х годов, когда показалось, и мне в том числе, что у нас пусть медленно, пусть не очень стабильно, но движение идет по этой же схеме. Но в последнее время мой опыт работы с социальными движениями показывает иную, достаточно парадоксальную картину, не похожую на то, что мы видим на Западе.

Когда смотришь на конфликт гаражников в Петербурге, когда власти сносят гаражи, а люди эти гаражи защищают, первое, что ты думаешь, – гаражники встают на защиту своих гаражей, дают бой властям, олигархам, героически сопротивляются. На самом деле картина получается почти обратная. Как раз среди гаражников в Питере лишь меньшинство защищало свои гаражи. Мне говорили, что так или иначе процессом затронуты, допустим, 100 человек, а на защиту, скажем, гаражей вышло 12–15 человек. А вот зато помогать им со всего города съехалась куча всякого народу, которые не имеют никакой материальной заинтересованности в этих гаражах, но которые видят здесь проявление гражданского сопротивления, проявление несправедливости, или им просто власти надоели. Вот тут набирается толпа народу. И эта толпа действительно бросается под бульдозеры, ложится на пути ОМОНа, и потому уже заводит некоторое количество заинтересованных лиц: «Ого! Из-за нашего-то дела люди дерутся с милицией. А почему бы нам тоже им немножечко не помочь». Очень похожая ситуация с Химкинским лесом. Сколько химчан участвовало в этом сопротивлении и сколько народу со всего города и со всей страны собралось участвовать? В Химках было и есть определенное сопротивление, более того, опрос общественного мнения говорил, что химчане против

сноса Химкинского леса, но не более того. Они против и все – сидят дома и по телевизору смотрят, как какие-то анархисты приехали в их город их защищать. Они сидят и сочувствуют этим анархистам, очень за них переживают.

У нас возникло некое извращенное гражданское общество, в котором все наоборот. Но в этом есть что-то очень русское и на самом деле очень возвышенное. Для нас все идет не от частного интереса, когда бургер возвышается, а ровно противоположным образом. Человек, вдохновленный общими идеями, понемножку начинает понимать, что есть еще частные интересы, которые тоже нужно решать. И это необязательно его личные вопросы. Он просто понимает их значимость.

Это по-своему замечательная черта нашего общества. Солидарность развивается быстрее собственного интереса. Да, это парадокс. Да, это очередная русская загадка, но она объяснима, исходя из нашей истории, культуры и социальной ситуации. Человек, в общем, не очень верит в успех. Если так, то почему он дерется? Ради принципа. Ради принципа человек может бороться даже тогда, когда понимает, что будет побежден. Это замечательная черта, которая в обществе еще осталась и которая дает надежду на будущее.

Арабская весна и «синдром 1991 года»

На протяжении нескольких месяцев я пытаюсь понять ту упорную и агрессивную неадекватность, которая то и дело обнаруживается в российских дискуссиях, посвященных Арабским революциям. Понятное дело, что официальным политологам платят за то, чтобы они рассказывали о вредности и бесполезности любых революций. Ясно, что националистические публицисты просто воспроизводят свои расистские предрассудки и фобии, доказывая, что у мусульман и «черных» заведомо ничего хорошего получиться не может. Но те же самые рассуждения под иным идеологическим соусом приходится то и дело слышать от людей, придерживающихся левых взглядов или вовсе не ангажированных политически.

Неадекватность зашкаливает. Ливия, конечно, здесь чемпион по числу ошибочных и просто абсурдных оценок и прогнозов. Прочили победу Каддафи, обещали распад Ливии и войну племен, затем, в тот самый момент, когда западные правительства с облегчением сворачивали операции и отзывали свои флоты, говорили о базах НАТО в этой стране как о чем-то решенном. Пока в ливийской прессе идет дискуссия о необходимости развернуть программу масштабных инвестиций в систему общественного транспорта и обеспечить здравоохранение квалифицированными национальными кадрами, чтобы не зависеть от иностранных специалистов, в России опять же как о чем-то само собой разумеющемся рассказывают, что в Ливии вот-вот начнется приватизация и бесплатная медицина будет ликвидирована. Говорили о разделе ливийской нефти между западными компаниями, как будто не знали, что она была разделена еще при Каддафи, а все, что можно, было его же режимом приватизировано – что и послужило одной из объективных предпосылок восстания. Не только официальная пресса, но и левые издания демонстративно игнорируют сообщения о становлении свободных профсоюзов, забастовках и попытках рабочих участвовать в управлении предприятиями.

После Ливии взялись за Тунис. Здесь увидели на выборах торжество «исламских фундаменталистов», хотя называть так тунисских «Братьев-мусульман», создавших центристскую партию «Ан-Нахда», – примерно то же самое, что путать Ангелу Меркель с Брейвиком на том основании, что они оба ориентируются на «христианские ценности».

Идеологически «Ан-Нахда» выступает за сочетание «исламских ценностей» с либеральной демократией западного типа, беря за образец Партию справедливости и развития (ПСР) турецкого премьер-министра Раджепа Эрдогана. А фактически она является умеренно-консервативной партией, выражающей интересы местной буржуазии, недовольной засильем транснациональных компаний. Зато в упор не разглядели успех левых партий, которые суммарно получили больше голосов, чем сторонники «исламских традиций». Еще несколько недель назад общим местом было утверждение, что левых сил в Тунисе «фактически нет». Теперь, когда выборы не только доказали обратное, но и создали ситуацию, когда в стране вообще невозможно сформировать правительство без участия левых, а сама «Ан-Нахда» обхаживает еврейскую общину, клянется в симпатиях к социальным правам и уговаривает профсоюзы не бастовать, отечественные левые опять демонстративно эти факты проигнорировали.

Обещая «наступление шариата» в Тунисе, отечественные политологи всех оттенков старательно игнорируют тот факт, что прежний режим отнюдь не был чужд исламским ценностям. В конституции президента Бургибы, в основном сохранявшейся и в годы правления Бен Али, использовался мусульманский календарь, в первой статье Основного закона государственной религией Туниса провозглашался ислам, а в статье 38 говорилось, что «религией президента республики является ислам». Бургиба, конечно, исламские нормы не слишком уважал, но одно дело образ жизни правителя, а другое – то, что он устраивает населению. Сам же президент по статье 42 должен приносить присягу, обращаясь к «Всевышнему Аллаху». Формула о том, что шариат является источником законодательства, которая вызвала такой шок, будучи произнесенной кем-то из умеренных политиков в Ливии, была официально провозглашенной нормой в том же «светском» Тунисе. И равноправие женщин было весьма условным. Например, в том же Тунисе закон дискриминировал женщин при получении наследства. Между тем активисты арабских революционных движений подчеркивают, что именно равноправие женщин является одной из главных задач происходящего преобразования. Об этом говорил Назиф Муэлим на октябрьской конференции ИГСО в Москве, об этом пишут в Тунисе и в Ливии.

Перечень примеров неадекватного восприятия Арабской весны в России может занять еще не одну страницу. Однако гораздо важнее понять причины такого положения дел. Объяснять его просто невежеством невозможно, поскольку в наше время пополнить свои знания не так уж сложно. Ни библиотеки, ни интернет никто не отменял. И читать арабские издания на европейских языках никто не запрещает. Проблема, однако, не в отсутствии знаний и даже не в неверных оценках – ошибаются все. Проблема в том настойчивом упорстве, в котором проявляется уверенность, что все должно кончиться плохо, в том откровенном разочаровании, огорчении и даже отчаянии, которое охватывает говорящих каждый раз, когда выясняется, что обещанная ими катастрофа не наступает, и в той радостной надежде, с которой воспринимаются любые плохие новости с Ближнего Востока.

Некоторое время я не мог этого понять, пока один из собеседников не обмолвился, что «россияне воспринимают арабские события через призму нашего опыта 1991 года». Когда этот же тезис в разной форме повторили мне еще три незнакомых друг с другом человека, я принялся смотреть тексты в интернете и обнаружил, что и там подобное сравнение вновь и вновь появляется. Доктор Фрейд лукаво подмигнул мне с экрана ноутбука.

Сравнение арабского 2011 года с российским 1991-м если и может быть сделано, то лишь для того,

чтобы увидеть очевидную и ярко выраженную противоположность двух процессов. В одном случае – кризис советской модели, реально противостоявшей капитализму, в другой – кризис глобального капитализма, в одном случае доминирует бюрократическая инициатива сверху, в другом – реальное движение снизу, в одном случае мы видим глобальное восхождение неолиберализма, в другом наблюдаем его распад. Сравнение образа жизни, экономических, социальных, культурных, психологических и даже политических структур стран Северной Африки или даже Сирии с порядками, царившими в брежневском СССР, неизменно выявляет не просто принципиальные различия, а разительные контрасты. А ссылка на обязательную «наивность масс» заставляет лишь вспомнить знаменитое высказывание 1848 года об австрийцах, которые были вплоть до начала революции политическими девственниками – хотя сегодня уровень политической компетентности среднестатистического арабского лавочника, реально переживающего общественные перемены, оказывается на голову выше, чем у большинства российских интеллектуалов, да и политических активистов, вместе взятых.

Однако дело не в арабах, а в нас. Участникам арабских революций на данный момент глубоко безразлично, как относятся к ним российские обыватели (хотя опыт дискуссии 21 октября в Москве показал, что арабские гости искренне переживали по поводу «странных» вопросов, которые они не ожидали услышать на «родине Октября»). Нет, настоящая проблема именно в нас самих. И отношение к Арабской весне наглядно иллюстрирует и объясняет ту позорную и чудовищную пассивность, с которой наше общество реагирует на коррупцию, кризис и разложение государства во многом худшие, чем то, что можно было наблюдать в Египте, Сирии, Тунисе или Ливии.

Психологическая травма 1991 и 1993 годов до сих пор не изжита. Мы попробовали изменить свою жизнь, но стало только хуже. Мы поверили в демократию, а нас обманули. Мы попытались сопротивляться, нас подавили. После переворота 1993 года общество погрузилось в глубокую депрессию, из которой оно так и не вышло до сих пор. И уверенность в тотальной манипуляции, в том, что миром правят закулисные заговоры, что мифический «Запад» неминуемо навязет свою неизменно злую волю всем, кому захочет, невысказанное, но твердое убеждение, что тяжелая рука коррумпированного диктатора обеспечивает покой и безопасность, поскольку «люди все равно ничего не могут, а все решают элиты», – вот симптомы этой болезни. Обман 1991 года был закреплен насилием 1993 года. В Украине, где не было подобного опыта, первичная травма была преодолена легче, а потому тамошнее общество сегодня разительно отличается от нашего – как следствие мы видим и другое отношение к Арабской весне, по крайней мере на левом фланге. Однако ведь мы сами дали себя обмануть в 1991 году. Не хотели слушать тех, кто в то время указывал на обман, призывал не поддаваться «демократической эйфории». А в 1993 году кто, как не сами россияне, провалили дело сопротивления, не оказали поддержки Дому Советов, смотрели его расстрел по телевизору.

Для тех, кто пытался в 1991–1993 годах объяснить публике смысл происходящего, итог был катастрофическим. Нас просто не слушали. А спустя пять-шесть лет повторяли наши же слова и выводы как нечто само собой разумеющееся. Только было уже поздно.

Политический анализ не имеет ценности задним числом. Если он никого не убеждает, значит, аналитик терпит поражение, даже если история показывает, что он тысячу раз оказывался прав.

Сегодня та же самая упорная, агрессивная неадекватность, которая блокировала любую дискуссию о

возможных опасностях перехода, проявляется в таком же упорном нежелании принимать реальность нового революционного процесса, осмысливать его уроки и формулировать на этой основе собственные действия.

Российское общество само виновато, если не в том, что у нас произошел поворот к авторитаризму и неолиберализму (надо учитывать объективное соотношение сил), то по крайней мере в том, что он произошел в столь позорной и уродливой форме, не оставив нам – в отличие от наших соседей – почти никаких плацдармов для сопротивления, хотя бы моральных или культурных. Эта вина, вполне по Фрейдю, сознается, но не признается. Стремление избавиться от комплекса вины порождает негативное отношение к любым проявлениям гражданского действия и революционной борьбы, разворачивающейся вокруг нас. И чем успешнее эта борьба, тем больше сочувствует обыватель «пострадавшим» диктаторам, тем сильнее его надежда, что история все-таки докажет бесполезность и вредность восстания. Ведь в этом единственное спасение от собственного стыда. Желаемое поражение и провал арабских революций должны оправдать обывателю его пассивность, интеллектуалу – его оторванность от жизни и практическую аполитичность, прикрываемую декларативным идейным радикализмом, активисту – его приверженность сектантской практике, никак не влияющей на общественную жизнь страны. Но, увы, культурно-психологического алиби у нас не будет.

История не оставляет никому шанса отсидеться. Она стучится в дверь. Ее дыхание мы чувствуем в новостях об экономическом кризисе, в том, как меняется «музыка времени». И выражение ее лица отнюдь не благодное. Лишь тогда, когда люди примут (добровольно или вынужденно) вызов истории, включатся в действия, лишь тогда, когда сами неожиданно окажутся на месте египтян, ливийцев или сирийцев, лишь тогда, когда сами почувствуют, что такое азарт борьбы и ярость действия, синдром 1991–1993 годов будет преодолен.

Смысл Арабской весны состоит для нас не в благодном восхищении чужими подвигами, а в необходимом признании вызова истории, в понимании того, что революция может потерпеть поражение, но ее успех или неудача, ее окончательные исторические результаты зависят не в последнюю очередь от действий людей, от сознательного участия в борьбе, оттого, чтобы на каждом этапе стремиться к тому, чтобы действовать осознанно, понимая все проблемы, противоречия и опасности, превращая солидарность из красивого слова в повседневную практику.

Нам предстоит еще очень многому научиться у арабов. Но для того, чтобы усвоить эти уроки, мы должны сначала почувствовать удушающий стыд за наше собственное нынешнее состояние. Стыд – это в некотором смысле революционная сила.

«Надо заставить народ ужаснуться самого себя, чтобы вдохнуть в него отвагу». Так говорил Карл Маркс.

А нам есть чему ужасаться.

Позор и отказ

Кризис развивается точно по графику. Неспособность власти справиться с нарастающей волной социальных проблем закономерно перевела его в политическую сферу. При этом механизм управляемой демократии в очередной раз продемонстрировал все свои сильные и слабые стороны. Сила его состоит в том, что до определенного момента политическая система может довольно эффективно сопротивляться не только недовольству общества, но и давлению реальности. Но

выдерживать это давление можно не беспредельно. И в этом главная слабость существующего порядка.

Политический механизм, при котором все партии, включая господствующую, являются не более, чем марионетками правящей бюрократической группы, которая регулирует их взаимоотношения, устанавливает ход событий и заранее планирует исход выборов, распределяя депутатские мандаты в соответствии со своими представлениями о необходимом политическом балансе, дает возможность власти уверенно проводить свою линию, не слишком оглядываясь на избирателей. Особенность российской политики состоит в том, что ей управляют «на входе». Отбирая участников предвыборной гонки по собственному усмотрению, власть может с очень большой долей вероятности планировать ее исход, не прибегая к грубым приемам фальсификации.

Однако методы управляемой демократии хороши во времена «тучных коров» и дают сбой в условиях экономического кризиса. В условиях, когда жизненный уровень падает, а политическая элита на это просто не реагирует, население с определенного момента оказывается больше всего недоволено не своими экономическими трудностями, а именно тем, что ему не дают возможности эффективно высказать свое недовольство. Так и не став процессом реального соревнования партий, выборы превращаются для публики в повод выразить власти свое раздражение. На фоне низкой явки избирателей резко растет процент людей, которые голосуют «назло власти». Такое поведение людей ничуть не меняет характер процесса, который как был, так и остается фарсом, но оно меняет баланс между марионетками, дезорганизует административные механизмы, а в результате получается не тот фарс, который был правящими кругами сочинен и отрепетирован, а совершенно иной – еще более абсурдный, позорный и дикий. Хуже того, кукловодам приходится самим выходить на сцену, связывать порвавшиеся нитки, убирать с глаз публики бессмысленно дергающихся кукол и выставлять самих себя на посмешище, опасаясь, как бы из зала не полетели тухлые яйца.

Представление безнадежно испорчено. Но ничуть не менее испорчена и репутация тех, кто зазывал нас в зал, обещая если и не шекспировские страсти, то по крайней мере серьезную драму. Можно понять старушку, по привычке голосующую за КПРФ и не понимающую, что эта партия не имеет ничего общего с собственным названием. Можно понять запуганных госслужащих, отдающих свои голоса «Единой России» потому, что в противном случае начальство грозит им всевозможными карами. Но невозможно ни понять, ни простить интеллектуалов и публичных деятелей, кичащихся своей оппозиционностью, но тем не менее азартно играющих в эту игру и даже призывавших идти на выборы других.

«Радикальные» комментаторы подробно обсуждают количество голосов, приписанных «Единой России», но при этом делают вид, будто не знают, что и все остальные партии суть ее филиалы и партнеры, которые так же точно включены в систему «управляемой демократии» и рука об руку с ней будут работать в новой Думе. Рассуждают о фальсификации результатов, игнорируя тот факт, что главное содержание подтасовок сводилось к завышению явки. И несмотря на все усилия, запугивание, приписки, явка все равно оказалась рекордно низкой, о чем проговорился даже господин Грызлов, пожаловавшись на то, что неведомая оппозиция «запугала» избирателей.

Московские и питерские интеллектуалы, сидящие в фейсбуке, видимо, даже понятия не имеют о том отвратительном давлении, которому в последние дни подвергались миллионы провинциальных служащих, врачей, учителей, студентов, особенно живущих в общежитиях, преподавателей вузов.

Московским блогерам не звонят вечерами плачущие учительницы их детей, умоляющие прийти на выборы, потому что иначе всевозможные кары грозят всей школе, они не выслушивают речи начальников, которые обещают все имена сверить и персонально расправиться с каждым, чьей подписи не найдут в списке избирателей. Никто не заставляет голосовать за ЕР, да это и невозможно проверить. Требуют только одного: придите и проголосуйте за кого угодно и как угодно – остальное мы сами сделаем. Столичные интеллектуалы не понимают, какой психологической устойчивостью и даже смелостью, решимостью и убежденностью нужно обладать для того, чтобы не подарить свое имя черту, а просто сказать «нет», ПРОСТО ОСТАТЬСЯ ДОМА. И все те, кто опустил бюллетени добровольно, пусть подумают о том, каким предательством является их поступок по отношению к тем, кто вынужден это делать по принуждению, и еще большим, двойным предательством – по отношению к тем, кто все равно решился отказать власти, не дал ей своей подписи, не принял участия в ее фарсе.

Господа интеллигенты могут теперь биться головой об стену и жаловаться на фальсификацию, которую будут активно покрывать «оппозиционные» партии, получившие обещанную долю. Но ведь вы сами, господа-товарищи, призывами к участию в выборах, своим голосованием, помогли организовать обман. Вы поставили свои подписи в списках, и никто теперь не докажет, что вы не проголосовали за власть. Вы приняли «Единую Россию» за правящую партию, а клоунов из КПРФ и других балаганов – за оппозицию. Вы приняли собственную истерику за общественный подъем, а пошлый фарс – за политику. Вы предали тех, кто сопротивлялся и сделал принципиальный выбор. Вы предали тех, кто не находил в себе силы сопротивляться, но надеялся на вас. Вы ничему не научились и, видимо, уже ничему не научитесь.

Когда на улицу выйдут те, кто остался дома вчера, как вы посмотрите им в глаза? Что скажете? Впрочем, память у вас короткая, и вы даже не почувствуете стыда.

Революция леммингов

За несколько часов до начала массовых демонстраций в Москве и Петербурге один из левых активистов записал в своем блоге: «неужели хомячки наконец взбунтуются». Спустя несколько часов «хомячки» не только толпами вышли на улицы, но и прорвали в Москве несколько полицейских оцеплений и начали прорываться к Лубянке. Почему именно туда (хотя ровно на том же расстоянии от них была Новая площадь), более чем понятно. Сработал давний стереотип интеллигентского сознания – все зло исходит от КГБ. Советского Союза давно уже нет, да и того старого КГБ нет, но стереотип остался.

Кто-то уже говорит про Тахрир в Москве, а другие – про Февраль в декабре. Но больше всего произошедшее напоминает 9 января 1905 года, только, к счастью, без человеческих жертв.

Начавшийся протест представляет собой выступление наивных, политически инфантильных и дезориентированных людей, которые, поддавшись стихийно-истерическому порыву, сперва, как лемминги, бросились на избирательные участки, а затем так же дружно ринулись на улицы бороться против фальсификации выборов, которые изначально были организованы и проводились по бесчестным, антидемократическим правилам. Они не участвовали в протестах пенсионеров в 2005 году, молчали или тихо ворчали, когда у них на глазах гробили образование и здравоохранение, они не понимали смысла слова «солидарность», когда выступали рабочие «Форда». Они яростно осуждали левых, говоривших про неминуемость фальсификации и необходимость бойкота. Вчера

они призывали друг друга голосовать, сегодня сами не менее единодушно высказываются за бойкот. Под влиянием событий политическое сознание развивается, причем быстро, как и положено во время кризиса.

Можно сколько угодно иронизировать по поводу интеллигентской наивности, критиковать либеральных лидеров, которые вывели толпу на улицы, и высказывать сомнения относительно добросовестности и компетентности данного руководства. Однако есть одно обстоятельство, которое радикально меняет дело. Единственная польза от выборов состояла в том, что они помогли наконец вывести людей на улицы. Молчание кончилось.

В своем протесте люди правы. Власть должна ответить перед гражданами. Выступление 5 декабря продемонстрировало, что период безнаказанного издевательства над обществом закончился и только от нас самих, от нашего участия в процессе зависит придать ему тот политический и социальный смысл, который отражал бы интересы и потребности большинства.

Мы говорили, что выборы будут сфальсифицированы, и оказались правы. И теперь нельзя не поддержать тех, кто выступил против фальсификации, сколь бы ни были наивны и незрелы их требования. Историю не выбирают.

Со своей стороны, власть сделала все, чтобы заложить под себя как можно больше взрывчатки, а потом сама и подожгла запал. Кризис верхов налицо, причем в самой патологической форме. Они неспособны выполнять собственные решения, осуществлять собственные сценарии. Выборы показали явный распад системы «управляемой демократии». Проведя их по изначально антидемократическим правилам, при массовом запугивании и принуждении избирателей, с подставными клоунами вместо политических оппонентов, не натянуть без фальсификаций пятидесяти процентов голосов, это, как говорится, нужно уметь! Недоверие и неприязнь населения к власти достигла критического уровня, и это уже точка невозврата. Ситуация будет развиваться. Бунт столичной интеллигенции не лучшее начало для революции, но историю не пишут на заказ. Выбора нет, движение началось и будет развиваться. Оставаться в стороне нельзя. Но нельзя и превращаться в охвостье либеральной публики или в ее «левое крыло». Нужно участвовать, занимая самостоятельную позицию. Перед нами движение, не имеющее ни ясной цели, ни четкой программы требований, ни лидеров, вызывающих у нас доверие (последнее, конечно, относится только к левым). Но именно поэтому участие в дальнейших событиях необходимо, если мы хотим придать им какой-то смысл и политическую перспективу.

Задачи демократического протеста очевидны, даже если толпа на площадях не может их внятно сформулировать: отмена итогов позорных выборов, отмена запретительного закона о политических партиях, перерегистрация ВСЕХ партий по новому демократическому закону, отмена законов и постановлений, ограничивающих свободу митингов, шествий и собраний

Но эти общедемократические требования не дадут обществу ничего, если не будут соединены с социальными требованиями – отмена федерального закона № 83, отставка Фурсенко и прекращение проводимой им реформы образования, восстановление в полном объеме бесплатной медицины и гарантий жилищных прав. Это не идеологическая программа левых, а минимальные требования подавляющего большинства населения. И без их реализации не возможны никакие демократические перемены в нашей стране.

Скорее всего, официальная оппозиция от протестов постарается отмежеваться и всех сдаст. А мы, не

голосовавшие, у которых голоса не украли, кто заранее предупреждал, чем это кончится, нам придется выходить на улицу снова и снова, начать акции против полицейского произвола (по возможности стараясь делать их санкционированными, но это уже зависит от властей), участвовать в массовых мобилизациях, поднимая социальные лозунги, требовать не только отмены фиктивных выборов, но и реальных перемен в обществе. Другого варианта у левых нет.

Революция в болоте

Алексис де Токвиль как-то сказал, что плохое правительство терпит крушение не тогда, когда творит всякие безобразия, а в тот момент, когда пытается исправиться. История с выборами в Государственную Думу в точности соответствует этой максиме. Если бы власть изначально планировала фальсификацию, тщательно к ней подготовилась и составила четкий план действий, то не было бы выявлено и десятой доли тех нарушений, сведения о которых буквально потоком обрушились на головы обывателя в понедельник 5 декабря. И уж, по крайней мере, организаторы выборов сумели бы подготовить цифры так, чтобы процентов у них в сумме выходило около ста, ну, максимум, 102–103, как в прежние годы, а не 140–150.

Правящие круги искренне не понимали масштабов кризиса, в который они погружаются, надеясь решить все проблемы по привычному сценарию – максимум голосов для «Единой России» при минимуме подтасовок. Выступление клоунов в роли «официальной оппозиции» должно было решить эту задачу. Но выяснилось, что изрядная часть населения – прежде всего аполитичные обыватели, предпочли клоунов тем, кого они считали «жуликами и ворами». Судя по всему, около 18.00 по московскому времени в высших эшелонах власти осознали надвигающуюся электоральную катастрофу и дали приказ спасать положение любой ценой. Началась грубая и бестолковая фальсификация, организаторов и исполнителей которой ловили с поличным буквально на каждом шагу. А итогом оказался беспрецедентный исторический результат: власть одновременно умудрилась подтасовать выборы, так и не сумев выиграть их. Чисто российское самоубийство. Неверно думать, будто кризис власти был вызван электоральной катастрофой 4 декабря. Как раз наоборот, провал выборов был результатом стремительно нарастающего кризиса верхов, когда сама власть оказалась дискоординированной, разобщенной, недееспособной. Революционная ситуация сложилась не в тот момент, когда председатель избиркома «волшебник» Чуров, как ученик чародея из знаменитой сказки, предъявил ошеломленной публике свои 146-процентные результаты, а значительно раньше, когда система объективно начала разваливаться под давлением экономического и социального кризиса. Нежелание власти признать это и скорректировать курс, ее установка на форсирование неолиберальных реформ в социальной сфере привели к тотальному отчуждению между правящей группировкой и народом.

Усмотрев в беспомощных попытках чуровского чародейства прямое издевательство над собой, столичный средний класс возмутился и вышел на улицу. Как и следовало ожидать, новая русская революция началась по самому нелепому и несерьезному поводу. Молодежь, которая зачастую не голосовала или голосовала «от балды», ринулась на акции протеста, потянув за собой старшее поколение. Людей просто «достала» власть, но не было ни объединяющего лозунга, ни общезначимого и общепонятного повода. В условиях общества с практически разрушенной культурой солидарности ни разгром системы образования, ни уничтожение бесплатной медицины, ни падение реальной заработной платы не становились причиной массового протеста, хотя и

подпитывали общее раздражение. Но выборы стали для многих последней каплей. Москва и Петербург поднялись.

Увы, выйдя на протест, российское столичное общество продемонстрировало чудеса политической инфантильности, продемонстрировав, как говорится, от обратного, что действительно имеет ровно такую власть, какую заслуживает. В воскресенье люди ринулись голосовать, зная заранее, что выборы нечестны, а оппозиция – подставная. На следующий день искренне возмутились обманом, хотя были прекрасно осведомлены, что играют с шулерами. Превосходным выражением этого абсурда стал лозунг, появившийся 10 декабря на Болотной площади: «Я не голосовал за этих сволочей! Я голосовал за других сволочей! Требую пересчета голосов!»

С единодушием леммингов интеллигенция и средний класс бросились на митинги. Власть растерялась. Ситуация начинала и вправду принимать серьезный оборот. После двух дней уличных столкновений выяснилось, что число протестующих растет, а полиция неспособна с ними справиться. Назначенный на субботу 10 декабря митинг на площади Революции грозил собрать несметное множество народу. А двусмысленная ситуация (митинг разрешен, но число участников ограничено тремя сотнями) еще больше оборачивалась против власти: люди были полны решимости приходить, несмотря на угрозы, тем более что ограничение численности участников откровенно противоречит конституции. Акции солидарности в регионах, назначенные на тот же день, выглядели угрожающе – никто точно не знал, много ли придет людей, но на фоне внезапного роста протестной активности в столицах риск массовых выступлений в провинции выглядел вполне реальным. Администрация отчаянно искала способов сбить волну протеста. По счастью, ей на помощь пришла оппозиция. Сначала «системная», а потом и внесистемная.

То, что официальные думские партии не поддержат борьбу на улицах, было ясно с самого начала. И хотя активисты уличного протеста и обращались к ним с подобными призывами, то скорее для того, чтобы дать этим политикам возможность окончательно дискредитировать себя. Как выразилась одна дама из «Справедливой России», митинги «нам только мешают». Естественно, мандаты, нарисовавшиеся в результате чуровского волшебства, никто сдавать не собирался, да и вообще причин для недовольства у лидеров официальной оппозиции не было. Их функционеры на местах кое-где пошевелились, но не слишком успешно.

А вот на внесистемную оппозицию улица в самом деле надеялась. И хотя далеко не все протестующие разделяли либеральные взгляды Бориса Немцова и его окружения, но все же они, в сознании общества, представляли собой некую альтернативу, пусть и не самую привлекательную. К тому же в стане «несогласных» было много разной публики, включая и экологов, и левых радикалов. Со своей стороны, власть за несколько дней сориентировалась в ситуации и стала обращаться с Немцовым и его группой, как с людьми, которые, по выражению одного из журналистов, «имеют лицензию на протест».

В ночь с четверга на пятницу часть заявителей субботнего митинга, не имея на то никаких полномочий от участников движения, ни с кем не консультируясь, перенесла акцию с площади Революции на Болотную площадь. Символическое значение переноса очевидно. Однако дело, разумеется, не только в символах. Во-первых, договоренность о переносе была очень важна для установления реального контроля над движением, которое ранее либеральной группой возглавлялось лишь условно-номинально. Во-вторых, это сразу же привело к расколу в рядах протестующих. В

третьих, это было необходимо, чтобы не только увести недовольную толпу подальше от жизненных центров власти, снизив опасность эскалации ненасильственного сопротивления, но и запереть в тупике Болотной площади. Наблюдатели сразу же заметили, что это место легко контролировать полиции. Но не заметили главного – толпа на Болотной оказалась полностью лишена даже инициативы, превратившись из деятельной массы в массовку при трибуне, которая контролировалась либеральными вождями.

Из истории хорошо известно, что на определенном этапе либеральная буржуазия предает демократию. Так было во всех европейских восстаниях и революциях, начиная с XIV века. Так было и у нас в 1905 году. Но чтобы предательство состоялось уже на четвертый день революции, это, конечно, уже достижение, достойное Книги рекордов Гиннеса.

Раскол, произошедший в Москве 9 декабря, после того как либералы ушли на Болотную площадь, предоставив левым и радикалам выбор – попасть под дубинки полиции на площади Революции или идти в болото за ними следом, явился не просто итогом удачного тактического хода столичной мэрии, но и отражает стратегический выбор правящих кругов. Власть пошла на сговор именно с «оранжевыми», с явной целью маргинализировать протестную молодежь не только оттого, что они таким образом пытаются погасить волну уличного сопротивления, лишив ее поддержки «обывателя», но и готовя для самой себя «оранжевый» сценарий в качестве «плана Б». Ведь с «оранжевыми» по большому счету единственное разногласие – в том, кто какой кабинет займет. Что касается левых, то они внесли свою лепту в дело всеобщей дезориентации. Выяснилось, что можно, например, состоять в руководстве последовательно-революционной организации, выступающей за бойкот, но одновременно голосовать за КПРФ, рассказывая об этом на публике, в то время как несколько членов группы сидят в кутузках за призыв бойкотировать выборы. Выяснилось, что можно менять политическую линию каждый день, а иногда и два раза в день. Известный анархист возбужденно призывал идти на выборы, поддерживая партию Зюганова, затем восхищался тем, как народ отвергает избирательный фарс, после чего требовал оккупировать Красную площадь, но когда либералы сорвали протестный митинг возле Кремля, радостно пошел за ними на Болотную, считая это большим достижением. Известный леворадикальный блоггер утром разоблачал обман либералов, а вечером звал своих читателей идти в болото вместе с ними. И все это без малейшей рефлексии, без малейшей попытки даже как-то увязать одно с другим.

На этом фоне Левый Фронт, выступавший одним из инициаторов митинга на площади Революции, оказался в крайне сложном положении. Будучи довольно рыхлой коалицией, он сам находился на грани раскола. Итоговый компромисс, достигнутый к позднему вечеру пятницы, был для левых не слишком приятным, но, если быть честным, переговорщики от ЛФ вряд ли смогли бы добиться лучшего, не имея за спиной ни крепкой организации, ни прессы, ни каналов оповещения для своих сторонников, ни даже единого и сплоченного руководства. Левые решили собраться на площади Революции, а потом, построившись в одну колонну, идти на Болотную площадь.

Митинг 10 декабря оказался не просто массовым, а беспрецедентно массовым. Он превосходил даже знаменитые митинги 1989 года в Лужниках, где собиралось до ста тысяч. Заполнена была не только площадь и прилегающий к ней мост, запружена людьми была Кадашевская набережная. Причем люди продолжали подходить после того, как значительная часть пришедших уже расходилась. По окраинам площади постоянно происходила ротация. Кто-то, потусовавшись с друзьями и

знакомыми, уходил (ведь ораторов все равно было не слышно), кто-то занимал их место. К моменту закрытия митинга, когда стали по бумажке зачитывать резолюцию, на площади было тысяч сорок людей, причем это были в основном не те, кто собрался в начале акции.

На Болотной площади прошел самый массовый политический митинг в Москве с начала нового века (включая даже официозные мероприятия, куда людей свозили автобусами). Власть сумела достать всех. Как бы ни складывались события дальше, улицы становятся – на какое-то время – свободной ареной для политики.

Это был пик революции леммингов, за которым неминуемо должен был последовать спад.

Восхищенные собственной численностью, представители студенческой молодежи и среднего класса так и не поняли, что именно произошло. После впечатляющего марша по центру города собравшаяся толпа (которую, кстати, никто даже не пытался правильно распределить по площади и организовать) несколько часов выслушивала истерично-однообразные речи ораторов, ругавших Путина и выборы. Социальные темы старательно игнорировались. Левых организаторы митинга не слишком жаловали, зато от ультраправых пригласили выступить господина Крылова, который передал собравшимся привет от Белова-Поткина и Демушкина.

В годы перестройки массовые митинги тоже собирали людей с разными взглядами, но тогда хоть была иллюзия, что есть некое общее дело, завоевание свободы, в рамках которой мы все будем мирно уживаться и вести дискуссии. Здесь проходящие колонны левых и правых, националистов и социалистов встречали друг друга свистом и улюлюканьем, в толпе, особенно – подальше от трибуны, то и дело вспыхивали злобные перебранки, по счастью не доходившие до драки (забавно, что десятки авторов, описывавших свои впечатления в фейсбуке, умудрились не только не заметить этого, но еще и умилиться тому, как фашисты и демократы мирно уживались на одной площади).

Если не считать призыва к отмене выборов, никакой политической равнодействующей у этой толпы не было. Забавно, что, когда Крылов заявил о начале «русской революции», возмущение части публики вызвал не явно националистический призыв, а именно слово «революция». «Нет революции!» – скандировали они. За полчаса до этого на Болотную втягивалась колонна Левого Фронта и его союзников, нестройно выкрикивавшая «Ре-во-люция!».

Провозгласив требование отмены выборов, митинг 10 декабря не дал никакого ответа на то, как этого добиться. Сознательный и вполне понятный отказ «болотных либералов» включить в повестку дня даже те социальные требования, которые поддерживаются большинством их собственных сторонников, говорит сам за себя. Между тем митинги в провинции, куда пришло не так уж много людей, свидетельствовали о том, что там движение явно не может вырваться за пределы среднего класса, да и его в полной мере объединить неспособно. Отказ от социальной повестки дня означает неминуемую демобилизацию даже тех, поддался массовой эйфории на подступах к Болотной площади.

Новых ходов в запасе у оппозиции больше нет, требование пересчета голосов и отмены выборов, не получающее реализации, будет утрачивать свою актуальность (в отличие от социальных проблем, которые будут нарастать). В исторической перспективе время, конечно, работает против власти. Но в сложившейся ситуации электорального кризиса оно работает на власть. Чем больше дней пройдет с 4 декабря, тем труднее будет мобилизовать людей под лозунгом пересмотра итогов голосования. И тем более нелепыми и незначительными будут казаться эти лозунги всем, включая участников субботних

гуляний.

Эйфория от массовости митинга мешает протестующим понять, что они потерпели поражение. Проиграли они, конечно, не «вчистую», ведь декабрьские события изменили общественную атмосферу и психологию, а это тоже немало. Но для победы этого недостаточно.

Стратегия и тактика либеральных вождей, получивших от Кремля своего рода «лицензию на протест», сводится к тому, чтобы проводить митинги. Потом еще митинги. Потом еще. Пока люди не устанут или не ударят морозы. Ни о какой самоорганизации снизу речь не идет, а публика пока к этому на стихийном уровне не готова. Понятно, что каждую неделю собирать по 120 тысяч невозможно. Движение уже выдыхается. А за эйфорией московского уикэнда неизбежно последует депрессия с тяжелой головной болью.

Уходя с площади Революции, левые активисты, привыкшие рассуждать об истории, вспоминали Францию времен Робеспьера и шутили про либеральное «болото», которое в России оформилось задолго до появления Конвента. И обсуждали, где может расположиться московская «Гора», противостоящая либеральному «Болоту». Ответа так и не нашли.

Фактическое размежевание левых и правых, сопровождавшее скандал с переносом митинга на Болотную площадь, если и не оформилось окончательно, то, по крайней мере, намечилось. Колонна левых была достаточно большой, а единство беспрецедентным. Но и тут, увы, в бочке меда явно была ложка дегтя, да, похоже, и не одна. Активисты продолжают общаться между собой, выкрикивая лозунги, которые что-то говорят только им самим, они не выступают пока как центр социальной мобилизации, не находят общего языка с окружающим обществом. И призыв «быть там, где люди» (оправдывающий присутствие на площадях «общедемократических» митингов) ничего не значит, если нет ни умения, ни желания с этими людьми работать и говорить. Отсюда наглядный результат: несмотря на то, что левым на сей раз удалось собрать рекордное число активистов в одной колонне, на фоне гигантской толпы Болотной площади их численность была трагически малой.

Это, конечно, не повод посыпать голову пеплом. Вопрос в том, чтобы выработать собственную политическую линию и более или менее последовательно на нее ориентироваться. Хотя для изрядной части активистов первая задача состоит в том, чтобы вообще понять, что такое «политическая линия», для чего она нужна, и почему, раз провозгласив ее, надо ей на практике следовать.

Предстоящий спад революции леммингов дает нам некоторую возможность подготовиться к предстоящим событиям. Власть будет постепенно восстанавливать контроль над ситуацией в столицах, вступая в сделки с оппозицией, обманывая и дезорганизуя ее, деморализуя уличную толпу безрезультатностью митингов. В ответ на требования пересмотра итогов выборов, ЦИК уже начал пересчет голосов... в тех округах где победила оппозиция. Так что итогом митингов может стать увеличение депутатского корпуса ЕдРа на 2–3 мандата.

Однако контролируя политический процесс, правящие круги не могут контролировать ни экономику, ни собственные бюрократические структуры, разложение в которых стремительно нарастает. Точно так же будет расти и недовольство. Кризис неолиберализма как экономической модели имеет объективный характер, и он не может быть преодолен никакими усилиями политтехнологов. Хуже того, этот кризис – ни на локальном, ни на глобальном уровне не может быть преодолен без радикальных преобразований. В противостояние будут втягиваться новые социальные группы,

сегодня оставшиеся в стороне от протеста, а сам средний класс под ударами экономических невзгод будет радикализироваться. Не очевидно, что он будет леветь, но от либералов отдаляться он будет наверняка.

Вопрос в том, смогут ли левые, начав свою консолидацию на площади Революции, стать политической силой, способной консолидировать новую протестную массу, или они последуют за либералами – в болото. События 10 декабря показали, что на сегодняшний день оба варианта возможны.

Побег из еврозоны

Слова политиков и международных банкиров о нерушимости евро и необратимости принятых решений все больше напоминают заклинания, с помощью которых пытаются предотвратить надвигающуюся катастрофу – не имея других средств для борьбы с ней. Несомненно, оптимистические прогнозы и громкие обещания призваны успокоить рынки, тем более что рождественские праздники на Западе являются важным элементом экономического цикла. Главный смысл Рождества здесь давно уже не в религии и не в семье – это ежегодный пик потребительского ажиотажа.

Между тем, тучи над Европой продолжают сгущаться, и никакими красивыми речами процесс не остановишь. Эксперты дружно заявляют, что у еврозоны есть только две перспективы: распад или дальнейшая интеграция. На этом сходятся все, но мало кто готов признать, что та интеграция, о которой идет речь на саммитах политических руководителей и совещаниях министров финансов, представляет собой катастрофу. По сравнению с ней все невзгоды, вызванные возможным распадом еврозоны, представляются легкими недомоганиями.

Дело в том, что проект интеграции, согласованный нынешней осенью, представляет собой ни больше ни меньше, как план уничтожения демократии в Западной Европе. Согласно этому проекту национальные парламенты лишаются права самостоятельно формировать бюджет собственной страны. И право это передается не какому-либо новому представительному органу, даже не декоративному Европейскому парламенту, а неким технократическим структурам, которые ни перед кем не отвечают – кроме бюрократической элиты и международного банковского сообщества. Антиутопии, сочиненные литераторами и всевозможные «теории заговора» меркнут перед этим простым и, в некотором смысле, даже наивным планом, открыто лишаящим население целого континента права распоряжаться собственным будущим.

Исключительное право парламента решать финансовые вопросы государства было и остается фундаментом демократии. Без него любой представительный орган превращается в пустую говорильню, консультативную ассамблею с сомнительными возможностями и неопределенными полномочиями. Вполне понятно, что премьер-министр Британии в принципе не может подписать подобный документ: нет ни малейшего шанса, что Вестминстер, «мать всех парламентов», согласится это принять. И даже если каким-то чудом удалось бы «натянуть» большинство при голосовании, граждане Соединенного Королевства этого не примут никогда. Английская революция началась с попытки монархии посягнуть на бюджетный суверенитет. Подобные посягательства стоили Карлу I головы. Лондонское правительство ссылается на то, что ряд положений договора неудобны для Сити. Иными словами, пытается заручиться поддержкой своих банков – против немецких и французских. Однако дело не только в конкуренции между финансовыми центрами.

Британские политики, обладающие, в отличие от своих коллег на континенте, отличной исторической памятью, слишком хорошо знают, чем такие игры заканчиваются.

В других странах Европы нарастает напряжение. Правительства и парламенты, похоже, уже настолько контролируются финансовыми институтами, что готовы одобрить все, что угодно. Но готовность населения проглатывать одну за другой очередные порции антидемократических и антисоциальных мер, похоже, исчерпана, даже если подается это под соусом «борьбы за спасение Европы». Всем слишком понятно, что парламенты хотят лишиться права формировать национальный бюджет отнюдь не для того, чтобы способствовать экономическому развитию стран или благосостоянию граждан. Политика жесткой экономии проводится уже второй год, и последствия ее вполне очевидны. Вместо того, чтобы способствовать экономическому росту, она ведет к рецессии. Жизненный уровень стремительно снижается, а вслед за этим начинается наступление на политические права.

«Пикейные жилеты» из российского экспертного сообщества строго рассуждают о «ленивых» греках, испанцах, итальянцах, а теперь уже и французах, из-за которых «трудолюбивые немцы» должны идти на жертвы.

Но если «ленивые итальянцы», оставшись без денег, перестанут покупать товары, «трудолюбивые немцы», которые их производят, останутся без работы.

Это понимают и лидеры Германии, с беспокойством ожидающие, что рано или поздно волна общеевропейского недовольства докатится и до них. Но влияние банковского сообщества сегодня столь сильно, а страх перед переменами столь велик, что никто не решается изменить курс. Правда, французские социалисты неожиданно для многих уже заявили, что в случае победы на выборах откажутся от договоренностей, которые Ангела Меркель и Николя Саркози навязали собственным странам и остальной Европе. Что будут они делать, когда реально окажутся у власти – вопрос другой, эта партия прославилась себя многочисленными обманами и предательствами. Но само по себе заявление о предстоящем пересмотре соглашений становится фактором общественной и даже экономической жизни.

Описываемое положение дел стандартно укладывается в ленинское описание революционной ситуации. Верхи не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому, а экономическое положение резко ухудшается.

Говорить, вслед за ленинским текстом столетней давности, про «нужду и бедствия» трудящихся масс в современной Европе будет, конечно, некоторым преувеличением, но, как известно, с высокой табуретки больнее падать.

Стремительное снижение жизненного уровня, который сейчас переживает запад Европы, беспрецедентно, его в чем-то можно сравнить лишь с тем, что наша страна пережила в начале 1990-х годов.

Между тем, именно на Россию возлагают надежды евробанкиры: вступление нашей страны в ВТО открывает для немецкой промышленности рынки сбыта взамен уничтожаемым в странах Средиземноморской Европы. Наши либеральные эксперты, захлебываясь от восторга, предрекают поток дешевых товаров, которые осчастливят российского потребителя. Но почему-то забывают упомянуть, что вместе с товарами мы импортируем безработицу. Извечная мечта отечественных элит быть поближе к Европе в очередной раз материализуется через приобщение к общей беде. Быть в

одной лодке сегодня означает потонуть вместе. Замечательная перспектива, особенно если верить, что в хорошем обществе и тонуть приятнее.

Экономический коллапс неминуемо высвобождает социальную энергию. Западная Европа давно не переживала революционных событий, и мы даже с трудом можем представить себе, какую форму примет революция в подобных странах. Но именно упорство элит создало условия, когда подобная перспектива из маловероятной превратилась в возможную, а сейчас, похоже, становится неминуемой. Страны, экономика и общественная жизнь которых сегодня уничтожаются ради «спасения евро», обречены на потрясения. У них просто нет другого выхода, кроме «побега из еврозоны». И если ради этого придется крепко «помочь бока» местной «охране» из числа политиков и финансистов, то виноваты в этом будут лишь те, кто сам завел ситуацию в тупик.

Что касается российского населения, то оно пока еще не вполне осознало смысл происходящего. Пробуждение общественного сознания происходит с трудом – как и положено зимой жертвам «летнего времени», которые пытаются в кромешной тьме разобраться, наступило ли уже утро... Но рассвет наступает. И если российские элиты готовы брать пример со своих западных партнеров, демонтируя образование и здравоохранение, разрушая систему социальной защиты, то и жители нашей страны все внимательнее присматриваются к происходящему в Европе. Либеральная оппозиция боится социальных требований. Она мечтает все устроить «по-западному» в то самое время, когда на самом Западе народы восстают против этого экономического устройства. Когда придет время социального протеста, мы обнаружим, что Россия действительно стала европейской страной. Только вряд ли отечественным либералам это понравится.

Знамена и ленточки

Столицы проводили 2011 год митингами, а политические комментаторы всех мастей наводнили интернет и прессу текстами, количество которых сопоставимо с численностью протестующих. Все уже высказались по нескольку раз, кто восторженно, кто скептически. Но, увы, мало кто попытался не оценивать происходящее, а понять его.

Те, кто приравнивают московские события к захвату площади Тахрир в Каире, обещая бурный рост движения, видимо, очень слабо представляют себе, что такое настоящая борьба на улицах. В Каире была многодневная оккупация площади в условиях непрерывной конфронтации с полицией. Да и сама площадь Тахрир была не просто местом, допускающим огромное скопление людей, а важнейшим городским узлом, заняв который народ блокировал значительную часть деловой и туристической активности. Люди, собравшиеся на площади, были полны решимости драться и погибнуть – они действительно ничего и никого не боялись.

Уличная толпа в Москве была гораздо более мирной, хотя вечером 5 декабря ситуация действительно вышла из-под контроля. И если бы шесть тысяч протестующих не двинулись, повинувшись какому-то непонятному «зову предков», пробиваться через полицейские кордоны на Лубянку, а рванули по незащитной Маросейке к Новой площади, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Митинг на площади Революции, назначенный на 10 декабря, еще сохранял эту протестную энергию, необходимую для уличного действия, и либеральные лидеры, самозванно взявшие на себя «представительство» интересов улицы, вместе с властями сделали все возможное, чтобы разрядить обстановку.

Перемещение митинга с площади Революции на Болотную площадь имело самые серьезные

практические и политические последствия. Это был не только шаг, направленный на снижение уровня конфронтации, но и попытка, в целом успешная, превратить массовые выступления в череду плановых мероприятий, управляемых и контролируемых все той же либеральной элитой, которой для легитимности пришлось включить в свою среду некоторое количество националистов и левых. Вместо массовых волнений мы получили народные гулянья с воздушными шариками и белыми ленточками. Численность митингующих выросла, но это лишь ослабило их в качестве уличной силы. Алексей Навальный 24 декабря на проспекте Сахарова мог сколько угодно ораторствовать, что он собирается взять Кремль. Но люди, слушавшие его, ничего штурмовать не собирались, да и не могли. Это была уже совершенно иная толпа, мало похожая на сборище сердитых молодых людей, которое мы видели на Чистых прудах и на Триумфальной в первые дни протестов.

Напрашивается подозрение, что лидеры сознательно «придерживают» уличные массы на всякий случай, пока не достигнуты договоренности о новом разделе власти. Сколь бы грозные проклятия ни сыпались на правительство и администрацию с митинговых трибун, ни для кого не секрет, что переговоры между чиновниками и оппозиционерами идут не прекращаясь, причем как правительственные начальники, так и оппозиционные лидеры еще и не перестают ни на минуту интриговать друг против друга.

И все же объяснять демобилизацию протеста исключительно кознями либералов неправильно. Если массовые выступления удалось сравнительно легко перевести в заранее заготовленное и безобидное русло, значит, сами протестующие еще не созрели для чего-то более серьезного. И если после ареста Сергея Удальцова среди московских активистов не нашлось больше ни одного претендента на роль Камилла Демулена, значит, время радикальных действий еще не пришло. Героем дня стала гламурная Вожена Рынска, поющая «Варшавянку».

Но революция идет своим чередом, проходя через спады и подъемы. Тот, кто иронизирует по поводу бунта столичного среднего класса, который, якобы, не может иметь серьезного политического эффекта, не понял главного, а именно того, что перед нами первый всплеск широкого и еще не развившегося движения. Будут еще меняться и лозунги, и лидеры, и даже цели.

Вчерашние радикалы, прямо на глазах забывают все, что они читали у Маркса, Ленина, Кропоткина или Троцкого, и впадают в эйфорию, восхваляя гражданский подъем, а неколебимые догматики не видят в происходящем ничего, кроме торжества либеральной пошлости. Ни те, ни другие не хотят признать, что революция имеет собственную логику. И осуждать сегодняшний протест на том основании, что он не соответствует нашим абстрактным идеям о «правильной» политике, это все равно, что критиковать французов весной 1789 года за то, что они шли не за не известным еще никому Робеспьером, а за интриганом и оппортунистом Мирабо. И в самом деле, что это там за люди в напудренных париках, что за светские дамы, разве это революция?

Левые, возмущающиеся сегодня «неправильным» социальным составом митингующих или недостатком революционной риторики в речах ораторов, явно не желают понять, что именно это и свидетельствуют о глубине и необратимости происходящих перемен. Первая волна революционного подъема только такой и может быть, и ее смысл в деконсолидации элит и их социальной базы. Поэтому именно появление всякого рода божен и прочих представителей «креативного класса» среди протестующих принципиально важно. Для успеха будущих выступлений социальных низов очень полезно, чтобы выступления протеста не разбились о консолидированную позицию

«благополучной» части общества.

Кризис верхов на первом этапе революционного процесса выражается в расколе правящей группы, а вовсе не в торжестве радикальных идей. Время социальных перемен (а не радикальных речей) наступит позднее. Без Неккера и Мирабо не было бы Дантона и Робеспьера. Без Февраля не было бы Октября.

Приходится, конечно, с горечью констатировать, что наши нынешние претенденты на роль Мирабо отличаются от своего французского предшественника не только еще большей продажностью, но и откровенным косноязычием, но тут уж, как говорится, чем богаты, тем и рады. Эпоха твиттера не располагает к развитию красноречия.

Главное условие любой революции – кризис верхов. Если верхи консолидированы, то даже очень мощное народное недовольство, даже катастрофический кризис экономики могут оказаться недостаточными, чтобы система начала рушиться. Но если верхи в силу внутренней дезорганизации, бюрократического развала и склоки между группами теряют контроль над ситуацией, даже сравнительно умеренные «толчки» могут вызвать обвал. Именно это мы наблюдаем сегодня. По-хорошему ничего еще и не началось. Протесты в столицах далеко не таковы, чтобы всерьез угрожать власти. Но правящие круги переполошились не на шутку, начали говорить о реальной многопартийности, пообещали политическую реформу.

Увы, значительная часть левых совершенно не понимает ни диалектики революции, ни диалектики вообще. Одни морщатся, что, мол, неправильные события, неправильная история, да и народ какой-то не такой. А другие верят, будто споря с либералами и фашистами в оргкомитетах, пропихивая в список своего оратора, они что-то изменят.

Между тем очевидно, что декабрьские митинги имеют совершенно определенную задачу, функцию и драматургию. Можно, конечно, произнести с трибуны несколько слов о социальном кризисе, разрушении образования или праве на забастовку (хотя показательно, что и этого не было сделано). Однако общую ситуацию подобные словесные вкрапления в общий поток «демократической» риторики никак не меняют. Всерьез говорить о социальной проблематике, значит – вести толпу совершенно в другое место с другими целями, значит, требовать как минимум совершенно иных резолюций и пытаться навязать митингу свою повестку дня, диаметрально противоположную той, что запланирована организаторами. Иными словами, речь идет о попытках публичного раскола движения, которые к тому же, скорее всего, и не увенчаются успехом.

Либералы на всякий случай страхуются, уравнивая левых ультраправыми. В логике либеральной публики это нормально, потому что для них даже самый умеренный социал-демократ не лучше фашиста (а может быть, даже хуже, ибо имеет большие шансы на то, чтобы увести за собой толпу, которую либеральные вожди считают своею). Другой вопрос, что националисты и ультраправые постоянно пытаются срывать сценарий, выходя за рамки предписанной им роли. Они изошряются во всевозможных тактических приемах, вроде вытаскивания на митинг огромного количества знамен (один из участников протестов подсчитал, что количество знамен «на душу актива» у националистов в 3–4 раза больше, чем у остальных), приходят с собственными мегафонами, освистывая ораторов, выкрикивая с трибун собственные лозунги. Но, как видим, никакого воздействия на общий ход событий это не оказывает. Резолюции все равно принимаются по заранее заготовленному шаблону. Хозяева митинга умело разыгрывают свои комбинации. Нравится

националистам или нет, но роль массовки они выполняют. Сценарий составлен жестко и грамотно, а главное – он соответствует общей политической логике процесса.

Суетиться на митингах, пытаться пролезть в список столичных ораторов не только пошло, но и вредно. Чем больше шума производит сегодня тот или иной деятель, тем быстрее он всем надоест и тем больше шансов у него оказаться на свалке завтра или послезавтра, когда кризис перейдет в следующую фазу.

Московское движение за отмену результатов думских выборов расти не будет – у него нет ни перспективы, ни даже четкой цели, за которую стоило бы бороться. Оно исчерпало себя эмоционально, социально, политически. Но это отнюдь не значит, будто мы возвращаемся к стабильности. Ничуть не бывало. Произошедшие перемены необратимы.

Важнейшая проблема российской власти состоит в том, что она потеряла веру в собственный электоральный механизм. Казалось бы, для авторитарного режима это не так уж важно. Кому в России вообще нужны выборы, особенно – думские? Конфликт и кризис, разразившийся вокруг их исхода, был особенно неожиданным именно в силу ничтожности самого предмета. Однако политическое значение разыгрываемой сегодня драмы выходит далеко за пределы вопроса о составе российского псевдопарламента и даже правил, по которым он формируется.

По существу, единственная политическая задача думских выборов 2011 года состояла в подготовке президентских. Которые, в свою очередь, отнюдь не являются процедурой, определяющей имя будущего лидера страны. Имя это всегда известно заранее. Решения принимают не избиратели и даже не конгрессы политических партий (будь то «Единая Россия» или ее исторические предшественники), а сходняки буржуазно-бюрократической элиты, где без лишней суеты и показухи обсуждаются серьезные вопросы. Необходимую информацию довели до нас 24 сентября на съезде «Единой России», и вопрос считали закрытым. Единственная функция выборов – легитимация уже принятого решения.

Однако декабрьский кризис сломал заготовленный сценарий. Стремительное падение популярности ЕР при одновременном росте протестной активности и тотальной дискредитации существующей процедуры выборов даже среди сторонников власти создают качественно новую ситуацию, когда всенародное голосование не только не служит своей основной задаче – легитимации выбора элит, но, напротив, становится проблемой.

Разумеется, никакого единого кандидата от оппозиции уже не будет, а если бы он и появился, от этого обществу станет только хуже. Поиск единого кандидата сегодня означал бы поиск лжеца, который будет врать так, чтобы удовлетворить всех, объединить силы, объективно противостоящие друг другу, подчинить антилиберальные низы контролю либеральных политиканов, договорившихся с националистами и приручившими некоторую часть левых. К счастью для российского общества, власти не стали экспериментировать с выборами, а сами предоставили оппозиционным либералам заведомо проигрышный шанс в лице миллиардера Михаила Прохорова, который большинству жителей страны известен прежде всего как человек, собиравшийся заменить 40-часовую рабочую неделю на 60-часовую.

Геннадий Зюганов проиграет выборы независимо от того, сколько ему отдадут голосов, хоть бы и вся страна его поддерживала. Готовность лидера КПРФ уступить электоральную победу по сходной цене хорошо известна. Но если лидер оппозиции готов будет принять и поддержать любую

фальсификацию, то общество – вряд ли. Да и провинциальные коммунисты могут не понять тонкого замысла или просто выйти из-под контроля.

В любом случае запрограммированное заранее несовпадение между списком кандидатов, из которых предложено выбирать с реальным раскладом политической жизни в стране и нестыковка запущенного избирательного процесса с политической реформой, которая параллельно теми же самыми властями уже запущена, гарантирует то, что президентские выборы не будут признаны в обществе легитимными даже в том случае, если подсчитают относительно правильно. Хуже того, сложившаяся избирательная система такова, что просто не сможет обеспечить честный подсчет голосов даже в том случае, если бы такая задача властями ставилась.

В той или иной форме срыв «выборов Путина» в марте 2012 года становится реальной возможностью. Сколько бы ни рассуждала либеральная публика о вреде революций и прочих пошлостях, никакого иного варианта, кроме углубления революционного кризиса у нынешней оппозиции не остается, да и сама власть уже неспособна восстановить или удержать стабильность. Если же вместо выборов или после них свершился переворот, пусть даже и внутри-аппаратный, то сегодняшняя оппозиция – уже не оппозиция, а власть – не власть.

Власть в соответствии со своими собственными теориями, пытается «управлять хаосом».

Рискованная игра. Но ее успех в очень большой степени будет зависеть от гласного или негласного сотрудничества с оппозицией. Если с парламентскими партиями все ясно, то сообщничество внепарламентских либералов будет стоить дороже. Причем цену придется платить уже не коммерческую, а политическую, открывая лидерам «несогласных» пути во власть. Сделав их министрами, можно, впрочем, на них же и возложить задачи по реализации тех самых «болезненных, но необходимых реформ» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В поведении и риторике «болотной оппозиции» есть некая странность. Если и в самом деле режим Путина они воспринимают как совершенно абсолютное, беспредельное и адское зло (что совершенно очевидно из любого текста, написанного, распространенного или произнесенного ими), то откуда столь благостная уверенность, что для изменения или свержения столь чудовищного и кровавого порядка достаточно прогулки по улицы с цветочками, ленточками и шариками? Почему нет для них ничего более страшного, чем революция? И как они собираются менять власть, ничего не меняя и ни на что не посягая? Они требуют, чтобы власть соблюдала законы, но сами понимают, что законы плохи, а главное – не ясно, как можно добиться соблюдения законности уговорами, если вы сами утверждаете, что перед вами банда преступников? Бедняга Лимонов, относящийся к риторике искренне, тоже этого не понимает и возмущается, призывая к более радикальным действиям.

Кризис прошедших дней, если он вообще куда-либо ведет, то не к «честным» и новым выборам, а к такому витку политического и социального конфликта и в такой форме, которые делают какую-либо электоральную политику технически невозможной. Марши с цветочками, разговоры о гражданском пробуждении и прочие «нежности» на деле ведут нас как раз к крови, вопрос лишь в том, большой или малой. Потому что все это загоняет ситуацию в тупик, а из тупика в условиях авторитаризма бескровного выхода может просто не оказаться.

Если, однако, признать, что вся радикальная риторика «болотной оппозиции» не более чем дань их собственной истерии, то многое становится на свои места. Ораторы, возбуждая себя и других,

возможно, и вправду верят своим словам, но речи это одно, а тактика и стратегия – другое. Задача «болотных» состоит в том, чтобы сохранить контроль над недовольством, причем – с помощью власти – монополию на контроль. Именно этот контроль и является их козырем в момент переговоров, когда серьезные люди сядут, наконец, за общий стол решать серьезные вопросы. И такой козырь стоит куда больше номинального думского статуса Миронова и Зюганова. Его можно обменять на нечто по-настоящему ценное.

Дело не в том, что «болотные» рано или поздно предадут и продадут своих сторонников, а в том, что именно это будущее предательство и является главной задачей и целью общественной мобилизации, главной целью и единственным смыслом «широкого объединения». Проблема лишь в том, что подобные игры слишком часто выходят из-под контроля. И чем более организована протестная масса, чем более она структурирована, чем лучше она отдает себе отчет в собственной силе и возможностях, тем труднее ее предать и обмануть.

Серьезным людям, которые правят Россией, разумеется, совершенно наплевать, как зовут президента – Медведев, Путин, Навальный или даже Зюганов. Но чего они по-настоящему не любят, так это неопределенности и непредсказуемости. Собственно и Путина, и «Единую Россию» придумали специально для того, чтобы решить эту проблему. И теперь ото всех этих достижений отказываться было бы очень обидно. В такой ситуации эффективным ответом на кризис доверия к власти и ее процедурам могла бы стать отмена выборов. Причем осуществить эту задачу куда проще, чем кажется на первый взгляд.

Только очень наивные люди могут считать, будто у «партии власти» сейчас нет в Думе конституционного большинства. Поскольку она состоит из четырех отделов – ЕР, КПРФ, СР и ЛДПР – сокращение численности «единороссов» означает лишь необходимость некоторого перераспределения функций при решении тех же задач. Медведев не случайно заговорил о необходимости коалиций. Если понадобится внести поправки в Конституцию, вполне достаточно будет одного совещания с руководителями фракций в Кремле, а лучше – на Новой площади. Возможно, конечно, придется заплатить некоторую цену в виде каких-то должностей, бизнес-контрактов или просто наличными. Но это уже мелочи. В конце концов, выборы стоят дороже. После этого Дума сама без лишних проблем проголосует за Путина (или любого другого, кого ей своевременно назовут).

Единственная проблема при развитии такого сценария состоит в том, чтобы найти благопристойный повод для отмены всенародного голосования. Им может, конечно, быть новая волна экономического кризиса. Дорого же выборы по всей стране устраивать – вместо того, чтобы тратить деньги на все эти мероприятия, правильнее будет сэкономленные средства пообещать пенсионерам.

И все же лучше, чтобы повод был политическим. Если так, то власть может использовать во благо себе те самые конфликты и протесты, с которыми сегодня борется. Как в известном правиле дзюдо, требующего использовать в своих целях силу противника. Надо же, в конце концов, нормально встретить Новый год. К тому же на данном этапе можно еще рассчитывать на реализацию базового, первоначального сценария мартовских выборов. Но если в новом году экономическая ситуация ухудшится, недовольство вырастет, если дестабилизация все равно будет происходить стихийно, то потребность в «плане Б» станет совершенно реальной. Будет он похож на тот, что был нарисован выше, или в администрации придумают что-то еще более остроумное, не так уж важно. В самом

худшем случае, итоги выборов пересмотрят постфактум, под давлением общественности. Но и в этом случае власть перейдет не к представителям народа, а к тому (или к тем), кого определяют на закрытых переговорах в качестве преемника Путина.

Единственная проблема в том, что легитимность этого преемника, как бы его ни звали, будет еще ниже, чем у нынешнего «национального лидера», а способность правящих кругов удерживать ситуацию под контролем— минимальной. Либералы и национал-демократы изо всех сил льстят митинговой публике, поздравляя ее с еще недостигнутыми успехами, называя «народом» и «гражданским обществом», хотя ни тем, ни другим она еще отнюдь не является (в первом случае из-за недостатка численности, а во втором из-за неструктурированностиTM). Но именно революционный кризис своим развитием, повседневной практикой действия, необходимостью принимать решения и брать на себя ответственность превращает толпу в народ, а массе трудящихся дает шанс структурироваться как классу.

На волнения в столицах российские биржи ответили решительным обвалом котировок, а деловые издания объясняли пессимизм инвесторов тем, что на фоне протестов правительство может не решиться провести «необходимые реформы» по ликвидации бесплатного образования и здравоохранения. Буржуазия, как всегда, зрит в корень.

В сложившейся ситуации левым нужно спокойно, без эйфории и паники готовиться к надвигающимся и неминуемым политическим битвам. Разумеется, необходима консолидация и организационное объединение, нужно создавать собственный центр для работы с массовым движением. Но если не будет выработана, хотя бы в общих чертах, политическая линия, все усилия по налаживанию сотрудничества, созданию объединенных организаций и коалиций не дадут ничего или почти ничего. Задача сегодняшнего этапа состоит в демаргинализации нашей повестки дня, в том, чтобы предъявить ее обществу в целом в качестве серьезной темы. Речь идет о действительной демократической революции, которая невозможна без восстановления социального государства (и соответственно реального равенства гражданских прав), без национализации природных ресурсов страны, без мобилизации которых невозможно никакое развитие, не говоря уже о переходе общества на новый этап пресловутой «модернизации».

Рассказывать об этом на либеральных митингах, перебивая свист политических противников и соревнуясь в демагогии с националистическими ораторами, задача неблагодарная, если не вовсе безнадежная. Для того чтобы социальные проблемы оказались в центре общественной дискуссии, нужно не тот или иной слоган протащить на митинг, а обеспечить соответствующий, качественно отличающийся от нынешнего, тип мобилизации снизу. Можно, конечно, ходить на большие митинги, раздавая свои листовки и газеты, разговаривая с людьми, объясняя свои позиции, но гораздо важнее выдвигать собственные требования на местах, разворачивать кампании в защиту школ, детских садов, за решение конкретных социальных вопросов. Эти митинги и акции будут на первых порах куда менее впечатляющими, чем гулянья на проспекте Сахарова, но мы и не должны ставить перед собой цели перещеголять их по массовости. Важна эскалация требований и вовлечение в общественную борьбу людей, на либеральные и националистические митинги не приходящих.

Нужно менять социологию, географию и тематику протеста, ведь именно провинциальные избиратели на самом деле по всей стране «прокатили» 4 декабря «Единую Россию».

Если политический митинг в полторы или две тысячи участников (который еще в ноябре казался бы

невероятно массовым), после декабрьских событий будет смотреться жалким, то десятки и сотни акций в защиту конкретных школ, детских садов, больниц, привлекающие пусть и по несколько сот человек каждая, постепенно превратятся в грозную силу, закладывая основу новой мобилизации, куда более массовой, значимой и содержательной, чем то, что мы видели раньше.

Именно перед этими людьми нам нужно говорить, именно они составляют нашу опору. И, в конечном счете, именно от них будет зависеть будущее нашей Родины.

Заключение Бунт или революция?

К восстанию среднего класса элиты менее всего готовы. Начало восстания было впечатляющим и обнадеживающим. Но каковы перспективы восстания?

По мере распада неолиберальной модели средний класс должен заново осмыслить свою роль и осознать свое место в обществе. Кто они – представители среднего класса, пережившие биржевой крах, развал «новой экономики», крушение надежд, связанных с «информационной революцией»? Зажиточные маргиналы, отстаивающие остатки бывшего благополучия? Или пионеры будущей сетевой экономики, основанной на знании и солидарности? Что перед нами – мелкобуржуазный бунт, каких уже было немало в истории капитализма, или первые бои глобальной антикапиталистической революции? Чем обернется кризис неолиберализма – «вторым изданием» депрессии 1930-х годов, завершившейся фашистским террором и социал-демократическими реформами? Или это преддверие куда более радикальных системных изменений?

Средний класс сам по себе изменить систему не в состоянии. Но что, если его восстание войдет в резонанс с другими проявлениями массового протеста?

Марксизм XIX столетия ждал пролетарской революции в Европе. Старый континент потрясли войны, в нем разворачивались политические битвы, рабочее движение меняло мир. И все же великие революции XX века не были классическими пролетарскими восстаниями, которых ждали ученики Маркса. И произошли они не в странах европейского «центра». Русская, китайская и кубинская революции оказались сложными социальными процессами, происходившими одновременно «на разных уровнях». Система изменилась оттого, что протест разных социальных групп был направлен против одной и той же власти, против одного и того же порядка.

В одних случаях происходил бунт, в других – революция. Итоги революции, в свою очередь, оказывались далеко не теми, о которых мечтали. Но так или иначе они двигали вперед историю. Вопрос в том, будет ли протест сфокусирован. Смогут ли недовольные объединиться? Возникнет ли у них общий интерес? Появится ли у них если не общая идеология, то хотя бы общее идеологическое поле.

Антонио Грамши называл это «историческим блоком». Сегодня новый антикапиталистический блок еще только начинает складываться. Это не только разнообразие частных и групповых интересов, но и культурная разногласица. Средний класс обнаруживает свое действительное место в системе, болезненно освобождаясь от иллюзий 1990-х годов. Маргинальные массы разрываются между соблазнами национализма и революцией.

Социальные маргиналы не порождают собственных идей, они лишь воспринимают чужие идеи. Иное дело маргиналы культурные, выдвигаемые элитами и средним классом в эпоху кризиса. Чем хуже идут дела в системе, тем больше таких «отверженных», ведущих вполне благополучный образ жизни, но мучимых неудовлетворенными амбициями и страдающих от идеологических унижений.

В этой среде могут зародиться революционные идеи, но могут вырасти и реакционные утопии. Национализм и фундаментализм – это как раз и есть комплекс неполноценности, возведенный в позитивный идеологический принцип.

Раньше протестовали те, кто был «неудачником», не смог приспособиться. Причем речь необязательно идет о неудачниках социальных. Миллионер Усама бен Ладен в социальном смысле меньше всего может рассматриваться как представитель отверженного люмпен-пролетариата. Но в культурном смысле он такой же лузер, который не смог приспособиться к правилам жизни глобальной элиты или не получил в ней того места, на которое считал себя в праве рассчитывать. Элиты с комплексом неполноценности – типичное явление рубежа XX–XXI веков. Особенно в странах периферии, от Саудовской Аравии до России. Это не совсем новое явление, но достигающее беспрецедентных масштабов: миллионеры-неудачники, комплексующие начальники, правители-маргиналы, фрустрированные бюрократы. Агрессия имперского центра провоцирует маргинальные элиты на ответные действия, что в свою очередь дает оправдание новой агрессии со стороны защитников «мирового порядка».

Колониальным элитам было легче. У них был свой статус в империи. Быть может, и подчиненный, но достаточно высокий, а главное – четко определенный.

Имперский «центр» признавал, уважал и использовал культурные различия. Транснациональный капитализм оказался не способен учитывать их. Он слишком примитивен, а потому реагирует на культурное разнообразие агрессивно, в духе идей Хантингтона о «столкновении цивилизаций». Его поборники в странах периферии сами воспринимают себя не как привилегированную часть местного общества, даже не как посредников между империей и «туземцами», а как часть транснациональной элиты, которой доверено поддерживать порядок на данной территории. У них нет никакого морального оправдания, никакого будущего.

Часть традиционных правящих классов пытается сохранить связь с обществом. Но даже в этом случае «периферийные» элиты подводит неопределенность статуса. Формально все равны, значимы только деньги. На практике же существуют еще и культурные барьеры. Чем больше правящий класс укоренен в собственном обществе (и, соответственно, чем более он «легитимен»), тем меньше его шансы преодолеть культурный барьер, войдя в транснациональное сообщество. Но бунт против этого сообщества означает неминуемую катастрофу: опереться на «свои» массы против «чужих» эксплуататоров – значит поступиться весомой частью власти и привилегий. Борьба «на два фронта» – значит рано или поздно потерпеть поражение (подобно Слободану Милошевичу и другим «национальным лидерам», рискнувшим поспорить с Западом). Власть в такой ситуации удастся удерживать лишь за счет жесткого полицейского контроля, постоянных репрессий. Но эти репрессии дискредитируют режим, еще больше сужают его социальную базу, а главное, дают оправдание Западу. Наказание ослушавшихся начальников превращается в «борьбу за демократию».

Дилемма «периферийных элит» – как в русской сказке: направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – голову сложишь. Полная культурная интеграция означает и полную потерю легитимности в собственном обществе. Сохранение культурной связи с родной страной означает ограничение возможности транснациональной интеграции.

Фрустрированные принцы обращаются к массам, становясь лидерами маргиналов. Их призывы бывают услышаны. В обществе, обреченном на нищету, тот, кто говорит о несправедливости, всегда

находит аудиторию. Его слушатели – не только беднота, лишенная будущего, но и часть среднего класса, лишенная достоинства. Но связь между подобными вождями и их сторонниками не основана на общем социальном интересе, а потому непрочна.

Это единство в ненависти, лишенное не только позитивной программы, но и обращенного в будущее идеала. Оттого исламизм, ностальгия по Советскому Союзу или национализм могут стать объединяющими лозунгами, но не помогут выработать стратегию победы.

Часть правящего класса, пострадавшая от неолиберальной глобализации, продолжает поиск «объединяющей идеи». Суть этой идеи, как бы она ни формулировалась, всегда – в подчинении массы «своим» элитам. Это подчинение должно быть обосновано неким «общим делом», «общими ценностями». Чем более иллюзорна подобная связь, тем более она идеологически привлекательна.

Другое дело, что обосновать подчинение «своим» можно только через противостояние «чужим». Дилеммы среднего класса за пределами Запада во многом похожи на дилеммы элит. Но у него есть иные способы и возможности для разрешения этих противоречий. Вместо того чтобы искать виноватого в своих бедах, он может попытаться изменить общество.

Элиты не могут себе этого позволить. Они консервативны, ибо порождены именно этой системой. Изменить общество для них означало бы полностью или частично экспроприировать самих себя.

Средний класс является куда более массовым даже на периферии системы. Он гораздо более объединен в глобальное сообщество. Он способен к сотрудничеству с рабочим движением.

У него огромный творческий потенциал. Он может подхватывать идеи, бросающиеся сверху, но может вырабатывать и собственные. Он может, наконец, воспринять и переосмыслить марксистские и левые традиции.

Маргиналы пойдут за идеями, которые берут верх в обществе. Такова их природа: чем более противоречиво и зависимо их положение, чем менее они способны сформулировать собственный интерес, тем более они восприимчивы к идеям, « витающим в воздухе ».

Это могут быть идеи революции, социального прогресса, освобождения.

Это может быть бегство от свободы, фашизм, религиозный экстремизм.

Средний класс имеет шанс выбирать. Он мечется между соблазнами реакции и мечтой революции.

Нужно, чтобы левые идеи взяли верх. И дело, по большому счету, уже не в левых. Речь идет даже не о том, возможен ли мир, отличающийся от нынешнего. Вопрос стоит куда жестче: будет ли через пятьдесят лет существовать мир вообще. Ибо победа реакционной альтернативы в мире, начиненном средствами уничтожения, означает катастрофу, по сравнению с которой Вторая мировая война может показаться легким недомоганием.

Социальный прогресс – ЕДИНСТВЕННОЕ лекарство против фундаментализма и национализма.

Искусство политики – в координации и объединении сил. Левые должны найти способ политического объединения рабочего движения и среднего класса. У них нет иного пути, кроме как соединить усилия, предпринимаемые в странах «центра» и на «периферии» современной мировой системы. В более угнетенных обществах закономерно развиваются и более радикальные настроения. Распространяясь на страны периферии, движение неизбежно будет становиться более жестким. Но сопротивление будет эффективным лишь в той мере, в какой оно останется глобальным.

Необходимы общие принципы, не дающие движению распасться на множество мелких групп.

Грамши говорил в таких случаях о «гегемонии». Социалистические идеи возвращаются в

общественную дискуссию, но им надлежит обрести конкретность политических программ, опирающихся на конкретные интересы.

Изменить общество – значит сделать жизнь одновременно более благополучной для большинства и более достойной. Борьба за возвращение человеческого достоинства отверженным неолиберализма может оказаться даже значимее борьбы с бедностью. Принцип демократии участия должен быть противопоставлен власти олигархии, гримирующейся под народное представительство. Необходимо четко заявить: левые выступают не за то, чтобы увеличить вмешательство государства в экономику, а за то, чтобы отдать экономическую власть в руки самого общества. И ради этого необходимо радикально преобразовать государство.

Вернуть людям уважение к себе можно только через политическое и социальное действие. Только через самостоятельный поступок, совершаемый каждым из миллионов восставших.

Как бы ни складывались обстоятельства, радикалы и реформаторы должны определенную часть дороги пройти вместе. Если не будет выработана некая общая программа, революция будет так же невозможна, как и реформа, ибо ничто так не способствует радикальным преобразованиям, как уверенность в успехе реформ. Нередко реформизм оказывается стартовой площадкой, трамплином для революции – так было и во Франции 1789-го, и в России 1917-го.

Формирование общей платформы, объединяющей реформистов и радикалов, вовсе не означает, что эта платформа должна быть как можно более умеренной. Как раз наоборот, именно последовательность и радикализм являются гарантией успеха в мире, испытывающем острую потребность в новых идеях. Задача состоит не только в том, чтобы возродить общественный сектор, но и в том, чтобы радикально преобразовать его. На протяжении XX века социалисты делились на сторонников рабочего самоуправления и поклонников централизованного планирования, не отдавая себе отчета в том, что ни та, ни другая идеология не решает главных задач социализации, а именно поставить общественный сектор на службу ВСЕМУ обществу. Уже сейчас можно сказать, что общественный сектор будет работать лишь в том случае, если будет обеспечен реальный общественный контроль, предполагающий отчетность и открытость в масштабах, абсолютно немислимых для либеральных экономистов. Экономическая демократия должна быть представительной, а это значит, что не только государство и работники, но и потребители, равно как и местное население, должны участвовать в формировании руководящих органов.

То, чем мы можем пользоваться только сообща, должно принадлежать обществу в целом – это относится к энергетике, транспорту, добывающей промышленности, коммунальным услугам и инфраструктуре связи точно так же, как к науке и образованию. Но не менее принципиальным, а может быть, даже более принципиальным вопросом, является социализация кредита. Если она не будет проведена хотя бы частично, невозможно найти социально приемлемое решение для всемирного долгового кризиса.

При этом абсолютно принципиально разделение частного и общественного интереса. Если бы это было проведено на практике в годы неолиберальных реформ, Международный валютный фонд не имел бы возможности использовать деньги, полученные от правительств Запада, чтобы давать займы правительствам «третьего мира» и Восточной Европы в обмен на приватизацию собственности, то есть фактически выполнять посредническую миссию и осуществлять политическое давление в интересах частных инвесторов. Общественный кредит до последней копейки (цента, лиры, пенни)

должен идти в общественный сектор, проекты, направленные на решение общих задач. Тем самым невозможной станет ситуация, когда частные коммерческие риски (и убытки) социализируются ради частных прибылей.

Еще Дж. М. Кейнс писал, что социализация инвестиций является единственным оправданным, с его точки зрения, лозунгом социалистов. Именно контроль общества над инвестиционным процессом, а не государственная собственность на здания и машины является главным социалистическим принципом. Левые никогда не были противниками кооперативов или муниципальных предприятий. Напротив, именно эти формы организации производства могут в наибольшей степени отражать потребности населения на местах. Однако они не могут заменить общественных инвестиций в проекты, работающие на коллективные нужды.

Общественный сектор становится тем инструментом, с помощью которого общество НЕПОСРЕДСТВЕННО решает свои коллективные задачи – экономические, социальные, экологические, культурные. Рынок и частный сектор приспособлены для решения лишь частных задач, и никакое регулирование не поможет снять это противоречие. Чем более остро стоят общие задачи всего общества и всего человечества, тем больше потребность в социализации. Во времена глобального потепления социализация энергетики становится вопросом выживания человечества. Но если социализм сможет работать в этой сфере, почему не в других сферах? Если он может спасти нас от всемирного потопа, почему бы ему не стать руководящим принципом нашей жизни вообще? Ответ на этот, как и на многие другие, вопрос будет зависеть от развития движения, его успехов и поражений, его опыта, его активистов и лидеров. Сейчас, когда глобальная нестабильность породила очередной подъем социальной борьбы, можно с уверенностью говорить, что новые революции опираются не на консолидированный рабочий класс, а на неоднородную и плохо структурированную массу, восставшую против господствующих элит, но далеко не всегда способную консолидироваться в ходе этого восстания. В этом революции начала XXI века напоминают движения, которые имели место на более ранних стадиях развития капитализма, вплоть до Великой Французской революции. Капиталу противостоит не организованный рабочий класс, а широкая разночинно-плебейская масса, которую могут повести за собой не только левые и прогрессивные силы, но и всевозможные демагоги, почувавшие свой шанс.

Антонио Негри и Майкл Хардт воспели это положение дел в своих книгах про империю и «множества», не поняв (вернее, не пожелав понять), что речь идет о крайне опасном и сложном процессе, исход которого зависит от того, какая политическая и социальная сила сможет превратить толпу в массы, а массы новых полупролетариев структурировать в сознающий свои интересы класс. Для того чтобы добиться этого, нам не только не нужно отказываться от уроков классического марксизма и социалистического движения, но, напротив, самым тщательным образом повторить и осмыслить эти уроки. Ведь класс не возникает стихийно сам по себе, он формируется в борьбе, в борьбе с другим классом.

Смысл сегодняшней российской революции состоит именно в самоконструировании нового трудящегося класса, политической армии современного наемного труда, объединившейся не только ради борьбы за более высокую зарплату или более сносные условия работы, но и требующей обеспечения своих общественных потребностей в социальной сфере.

Неолиберальный капитализм, стремясь к снижению социальных издержек, подорвал механизмы

социального воспроизводства общества, подготовив тем самым беспрецедентную катастрофу, переживаемую сегодня человечеством. Теперь восстановление социального государства становится уже не просто политическим лозунгом, а вопросом выживания общества, условием его самосохранения. Это ощущается в Европе, в странах Ближнего Востока, но особенно остро и болезненно мы переживаем это в России.

Однако нельзя ни вернуть старую социал-демократию, ни восстановить в первоначальном виде исчезнувший Советский Союз. Нам нужен новый проект, основанный на участии общества в конструировании собственного социального государства под свои меняющиеся потребности, необходима жесточайшая борьба против власти капитала, поскольку никаким иным образом не могут быть сформированы соответствующие структуры самоуправления и получены необходимые ресурсы. Старые лозунги национализации и демократизации встают в повестку дня.

Политический проект «возрождения» условий, породивших «средний класс» в середине XX века, оказывается одновременно стратегией, нацеленной на реконструкцию или воссоздание пролетариата как класса в новых исторических условиях, с новой гегемонией и новым коллективным сознанием – как класса, отвечающего за общество в целом, за его воспроизводство и развитие. Гуманистическое содержание классовой борьбы выходит на передний план.

Маркс называл пролетариат могильщиком капитализма. Капитализм пережил XX век и сумел под конец столетия нанести рабочему классу несколько чувствительных поражений. Может быть, Маркс ошибся? Может быть, в роли могильщика капитализма предстоит выступить другой социальной силе? Не создал ли капитал для себя новую угрозу в лице среднего класса?

Очень соблазнительно сразу дать утвердительный ответ на оба вопроса. Однако реальная диалектика истории хитрее. Средний класс обретает революционный потенциал в процессе технологической революции. Но без участия рабочего движения успешная борьба против капитализма не только немыслима, но и бессмысленна. Система рухнет тогда, когда не выдержит одновременного натиска с разных сторон. И даже не это главное. Ибо система может пасть и без участия левых сил. Проблема не в том, как долго просуществует капитализм, а в том, что придет ему на смену.

Очень не хотелось бы, чтобы новый мир оказался хуже старого. И еще меньше хотелось бы, чтобы это оказался мир без людей и вообще без живых существ.